

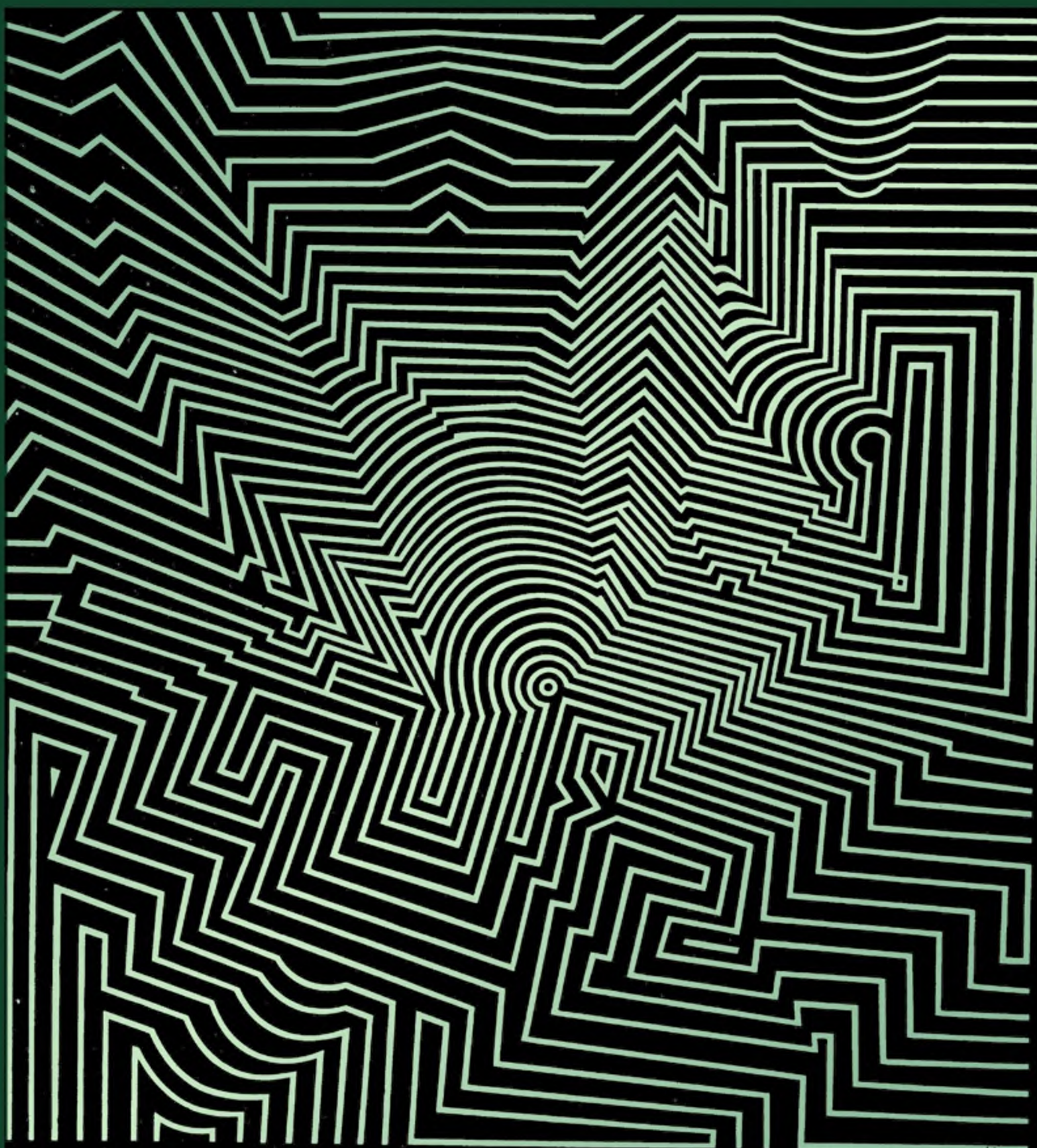


РАЗУМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЯЗЫК
LANGUAGE AND REASONING

Е. С. КУБРЯКОВА

В ПОИСКАХ СУЩНОСТИ ЯЗЫКА

КОГНИТИВНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ





РАЗУМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЯЗЫК

LANGUAGE AND REASONING

Е. С. КУБРЯКОВА

В ПОИСКАХ СУЩНОСТИ ЯЗЫКА

КОГНИТИВНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ



ЗНАК
МОСКВА
2012

УДК 811.161.1
ББК 81.031
К 88

Редакционная коллегия:
В. А. Виноградов, В. З. Демьянков, Н. Н. Болдырев,
В. Ф. Новодранова (отв. редактор)

Кубрякова Е. С.

К 88 В поисках сущности языка: Когнитивные исследования / Ин-т. языкознания РАН. — М.: Знак, 2012. — 208 с. — (Разумное поведение и язык. Language and Reasoning).

ISBN 978-5-9551-0461-4

В настоящем издании собраны последние работы Е. С. Кубряковой (1927—2011) — выдающегося лингвиста, создателя ономаσιологического направления в отечественной лингвистике, основателя когнитивно-дискурсивной парадигмы лингвистического исследования как одного из ведущих направлений когнитивной науки в нашей стране, автора новаторских идей и новых подходов к описанию языковых явлений.

Работы, представляемые вниманию читателя, были опубликованы в 2005—2011 гг. в нескольких выпусках сборника «Когнитивные исследования языка», изданных Институтом языкознания РАН совместно с Тамбовским государственным университетом им. Г. Р. Державина, а также в журнале «Вопросы когнитивной лингвистики» и в некоторых других сборниках научных трудов последних лет.

Книга представляет собой дальнейшее развитие и разъяснение тех ключевых понятий когнитивной науки и когнитивной лингвистики, которые содержатся в «Кратком словаре когнитивных терминов» (1996), изданном под редакцией Е. С. Кубряковой.

Статьи расположены в тематическом порядке и дают представление о современном состоянии когнитивной лингвистики.

Издание адресовано филологам, лингвистам, всем, кто интересуется актуальными проблемами современной науки о языке.

ББК 81.031

*В оформлении переплета использована картина
В. Вазарели «Zint» (1952—1961)*

ISBN 978-5-9551-0461-4

© Кубрякова Е. С., 2012
© Знак, 2012

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| Предисловие | 7 |
| У истоков когнитивной науки | 11 |
| Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когнитивной лингвистики | 13 |
| О месте когнитивной лингвистики среди других наук когнитивного цикла и о ее роли в исследовании процессов категоризации и концептуализации мира | 36 |
| Основные направления концептуального анализа | 43 |
| О когнитивных процессах, происходящих в ходе описания языка..... | 54 |
| В поисках сущности языка | 63 |
| О соотношении языка и действительности и связи этой проблемы с трактовкой понятия знания | 79 |
| К проблеме ментальных репрезентаций | 95 |
| О термине «дискурс» и стоящей за ним структуре знания | 113 |
| Лингвокультурологический статус драмы (новое в изучении языка пьес) | 128 |
| В генезисе языка, или Размышления об абстрактных именах | 147 |
| К определению понятия имиджа | 167 |
| К вопросу о природе объяснений в лингвистике | 181 |
| Рецензия на: <i>D. Lee. Cognitive Linguistics. An Introduction. N. Y.: Oxford Univ. Press, 2002. — 223 p.</i> | 195 |
| Первые публикации статей | 202 |

ПРЕДИСЛОВИЕ

27 июня 2011 г. после продолжительной болезни ушла из жизни Елена Самойловна Кубрякова — доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела теоретического и прикладного языкознания Института языкознания РАН, заслуженный деятель науки РФ, doctor Honoris causa Киевского национального лингвистического университета, Почетный профессор МГУ и Минского государственного лингвистического университета, автор более 350 научных работ, из которых 10 монографий, в том числе монументальный труд «Язык и знание».

В её работах сочетались черты традиционного и новаторского, предшествующих теорий и подлинно новых. Она отразила в своих исследованиях ведущие тенденции современной лингвистики: антропоцентризм, функционализм, экспансионизм и экспланаторность. Она известна своим глубоким анализом генеративной грамматики, интерпретацией динамических теорий языка, проблем падежной грамматики и др.

Елена Самойловна — основатель отечественного направления когнитивной лингвистики, которое она назвала когнитивно-дискурсивным. Она — один из организаторов и вдохновителей «Российской Ассоциации лингвистов-когнитологов», председателем Президиума которой она являлась с 2003 года. Она также была долгие годы членом Комиссии по словообразованию при Международном комитете славистов, членом редколлегии ведущих лингвистических изданий: «Известия АН, Серия литературы и языка», «Вопросы филологии», «Вопросы когнитивной лингвистики».

С 1984 по 2006 гг. она читала лекции для аспирантов, сотрудников и стажеров, руководила диссертационными работами в Московском государственном лингвистическом университете, а с 1995 г. также и в Московском городском педагогическом университете.

Работая в Российской академии наук с 1959 года, она принимала участие едва ли не во всех крупных изданиях Института языкоз-

нания, принесших ему мировую славу и известность, начиная со «Сравнительной грамматики германских языков» в четырех томах, «Общего языкознания», «Языковой номинации» в двух томах, и кончая пятитомной серией книг «Роль человеческого фактора в языке» и «Язык и наука конца XX века».

Её собственные монографии стали настольными книгами для лингвистов разных поколений. Их тематика многообразна и отражает многие направления в развитии лингвистических знаний. Они являются свидетельством её аналитического ума, теоретического подхода к разработке проблем, фундаментальности и глубины мышления и ещё долгие годы будут вдохновлять новые поколения лингвистов на творческий поиск.

Вокруг Елены Самойловны Кубряковой сложилась одна из самых действенных школ в нашей стране — целое Кубряковское братство, в котором 22 доктора и 40 кандидатов филологических наук. Это блестящая плеяда ученых, которые по праву занимают заметное место в лингвистической науке у нас в стране и за рубежом. Их объединяет искренняя любовь к Елене Самойловне Кубряковой, давшей им путёвку в научную жизнь. Все они воспринимают уход Елены Самойловны из активной творческой жизни как трагедию для науки и личное горе для каждого.

Предлагаемая вниманию читателей книга «В поисках сущности языка: Когнитивные исследования» содержит публикацию работ Е. С. Кубряковой, посвященных основным положениям когнитивно-дискурсивной парадигмы и разъяснению ее ключевых понятий. Работа эта была задумана Е. С. Кубряковой в 2009 г. как новые материалы к «Краткому словарю когнитивных терминов», изданному в 1996 г., редактором и одним из основных авторов которого она была. К сожалению, авторский план так и не был реализован при жизни Е. С. Кубряковой.

Данное издание должно дать представление об огромном кругозоре Е. С. Кубряковой, нашедшем свое воплощение в исследованиях, начатых «Кратким словарем когнитивных терминов» и монографией «Язык и знание» (2004 г.). В него включены работы Е. С. Кубряковой 2005—2011 гг., касающиеся особенностей

когнитивно-дискурсивной парадигмы. В этих работах разъясняются главные научные понятия, используемые в рамках когнитивной лингвистики: соотношение языка и действительности, категоризация и концептуализация мира, представление знаний в языке, классификация различных типов знания, метакогниция и метарепрезентация, языковое знание и языковое сознание, картина мира, дискурс и дискурсивная деятельность, естественная категоризация в языке и др. Особое внимание уделяется характеристике места когнитивной лингвистики среди других наук когнитивного цикла и ее роли в процессах категоризации и концептуализации мира.

Мы посвящаем издание этой книги памяти Е. С. Кубряковой, 85-летие которой лингвистическая общественность будет отмечать 29 октября 2012 года.

В. А. Виноградов, В. З. Демьянков, В. Ф. Новодранова

У истоков когнитивной науки

Чтобы охарактеризовать область когнитивной науки за рубежом и у нас в стране, сегодня кажется необходимым вернуться к ее истокам и пересмотреть роль генеративной грамматики и когнитивной психологии в ее становлении.

Создателям когнитивной науки была вполне ясна общность установок когнитивной науки и вовлеченность в ее формирование целого ряда проблем, которые не могли быть решенными в рамках какой-либо одной науки. В 1979 г., спустя более двух десятилетий развития когнитивной науки, приходящегося на 50-е, 60-е, 70-е годы, Дж. Миллер подчеркивал, что теоретическая лингвистика, экспериментальная психология, симуляция когнитивных процессов на компьютере и т. д. — все это «части большего единства, и будущее увидит постоянную разработку и координацию разделяемых всеми науками интересов в этой области. Я работал над созданием когнитивной науки около 20 лет, прежде чем понял, как ее обозначить».

И действительно, указанные мной годы (от 1950-х до 1980-х) отразили единые установки формирования данной науки, и ученые в этот период разделяли массу общих идей. Ведущими науками того времени оказались экспериментальная психология, трансформационная грамматика и теория информации. Нельзя не отметить и близости подходов к решаемым проблемам у Дж. Миллера и Н. Хомского. Миллеру и Хомскому принадлежат общие главы в учебнике по математической психологии (1963 г.). Не случайно, что когнитивная наука оказывается обязанной в эти годы Хомскому.

Размежевание когнитивной психологии и генеративной грамматики начинается с публикации когнитивной психологии У. Найсера. Классической работой этого периода можно считать работу Дж. Миллера и Ф. Джонсона-Лэрда «Язык и восприятие» (1976 г.), где по сути дела предложена новая модель восприятия и порождения речи, отличная от генеративной.

Немалую роль в начавшемся обособлении сыграла невозможность подтвердить догмы генеративной грамматики эксперимен-

тальным путем. Несмотря на то, что вклад Н. Хомского в когнитивную науку продолжался (достаточно вспомнить его книгу 1980 г. о ментальных репрезентациях), связь между психолингвистикой (когнитивной психологией) и генеративной грамматикой постепенно терялась, и пути когнитивной науки и генеративной грамматики все больше расходились. Неслучайно официальной датой возникновения когнитивной науки считается 1989 г. К этому времени многие когнитивисты первого поколения выражают свое несогласие с генеративной грамматикой Хомского, заявляя о том, что появление когнитивной психологии, да и появление самой когнитивной науки с ее новейшими установками было связано с совместной борьбой Миллера и Хомского против бихейвиоризма. Формирование установок когнитивной науки, связанное с когнитивистами первого поколения (Дж. Лакофф, М. Джонсон и др.), начинается с резкой критики генеративизма.

Можно, таким образом, считать, что в лингвистической историографии необходимо еще раз вернуться к вкладу в когнитивную науку указанных выше наук и представляющих их ученых. Нельзя не отметить, что именно с этого времени внутри якобы единой когнитивной науки складываются свои собственные школы и направления.

ОБ УСТАНОВКАХ КОГНИТИВНОЙ НАУКИ И АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Со времени публикации «Краткого словаря когнитивных терминов» [Кубрякова и др. 1996] прошло более семи лет — большой срок для активно развивающейся парадигмы научного знания. На этом словаре выросло целое поколение ученых, впервые познакомившихся с когнитивной наукой и когнитивной лингвистикой по этому словарю и благодаря ему заинтересовавшихся этими новыми науками. В этом, собственно, и состояла тогда цель словаря — вовлечь в когнитивные исследования новые поколения лингвистов у нас в стране и показать перспективы данного направления. Вскоре после этого этим же целям стал служить совместный проект Института языкознания РАН и Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина «Современное лингвистическое образование» Федеральной целевой программы «Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки на 1997—2001 гг.», в рамках которого в Тамбове и Москве прошли замечательные конференции и встречи, а также были выпущены многочисленные издания, в которых когнитивная лингвистика не только получила свою дальнейшую разработку, но, как представляется, оказалась существенно обогащенной за счет выдвижения новой собственной версии когнитивизма. Эта версия, ставшая известной в отечественной науке под названием когнитивно-дискурсивной, хотя и возникла первоначально в недрах классического когнитивизма, когнитивизма первого периода (см. [Кубрякова 1997]), а значит получила импульсы своего развития за рубежом, очень скоро переросла пределы узкого когнитивизма и, вбирая в себя лучшие традиции отечественного языкознания и опираясь на его достижения и традиции, обнаружила свои яркие отличительные черты и своеобразие.

Освещая актуальные проблемы современной когнитивистики на сегодняшний день, уже нельзя, строго говоря, не учитывать тех огромных перемен, которые были связаны с появлением когнитивно-

дискурсивной парадигмы и которые явно отражали преодоление известной ограниченности «узкого» когнитивизма и переход к новым важнейшим проблемам науки XXI века. Нельзя, конечно, говоря об этих новых задачах в самой когнитивной лингвистике и когнитивной науке в целом, обойти вопрос и о тех изменениях, которые произошли в названных науках за рубежом. Но, поскольку две рассматриваемых линии развития когнитивизма — у нас в стране и за рубежом — в значительной мере разошлись и оказались достаточно самостоятельными, в настоящей статье, открывающей наш новый журнал, мы решили отдать первоначально дань историческим истокам когнитивизма. Иначе говоря, мы хотели вернуться здесь еще раз к той ситуации, которая его породила и которая придала всему этому направлению за рубежом конкретный его характер, а в значительной степени предопределила те задачи и те установки когнитивизма, с которыми мы стремимся познакомить нашего читателя сегодня. Хотелось бы при этом все же специально подчеркнуть, что в освещении и разъяснении актуальных проблем когнитивной лингвистики сами мы стоим на позициях когнитивно-дискурсивной парадигмы, а потому, конечно, и расцениваем все, описываемое нами, с этой точки зрения.

По признанию многих ученых, когнитивная наука (далее КН) и когнитивная лингвистика (далее КЛ) заняли «прочное место в ряду крупных научных потоков исследований» [Поляков 1993: 12], когнитивная лингвистика выдвинула свою собственную парадигму знания [Kravchenko 2002: 42], и вообще во второй половине XX века «произошла практически полная смена парадигмы» [Фрумкина 1995: 75]. Бурное развитие КЛ считается «характерной чертой мирового языкознания на современном этапе» [Попова, Стернин 2001: 3]. И все же основания указанных наук, а также их цели и задачи характеризуются многими исследователями, в том числе и у нас в стране, далеко не тождественным образом, а потому и выступают зачастую как лишенные ясности. Между тем широкое распространение публикаций, в заглавии которых фигурирует термин «когнитивный», широкий диапазон мнений о сущности когнитивизма, о его новизне, достоинствах и недостатках и, конечно, о желательности или нежелательности его развития у нас в стране — все это факты, с которыми невозможно не считаться и от оценки которых зависит понимание облика современной теоретиче-

ской лингвистики в целом. Думается, однако, что подобная оценка необходима не только для лингвистики: перспективы развития КН важны и интересны для многих фундаментальных наук, так или иначе связанных с языком и обращающихся к лингвистике для разъяснения ставящихся в них теоретических и практических проблем. Последнее помещает лингвистику не только в разряд наук когнитивного цикла (а для них КН выступает как «зонтиковая»), но скорее в число системообразующих КН дисциплин. Возникает такая ситуация, при которой, с одной стороны, нельзя правильно осветить историю зарождения и становления самой КН, минуя лингвистику и не учитывая изначальных связей указанных наук, но нельзя, с другой стороны, понять смысл и содержание актуальных проблем современной лингвистики, не отдавая дани грандиозным замыслам и планам КН. Признание важности этих обстоятельств определяет главную задачу настоящей статьи, посвящаемую некоторым особенностям формирования КН и ее дальнейшего развития лишь для того, чтобы охарактеризовать на этом фоне своеобразие и новизну такого нового направления в лингвистике, как когнитивизм, и определить стоящие перед ним проблемы.

КН начинает свое развитие в США примерно с 60-х гг. XX века, что по датам появления соответствует возникновению там же и такого нового лингвистического направления, как трансформационная (позднее — порождающая, генеративная) грамматика, т. е. перед тем, как им разойтись (а о КЛ уже с конца 1970-х гг. можно говорить как об антихомскианской), КН и генеративная грамматика развиваются во многом параллельно друг другу и, безусловно, оказывая друг на друга значительное влияние. У истоков КН не случайно называют таких выдающихся ученых, как психолога Дж. Миллера и лингвиста Н. Хомского [The Making of Cognitive Science 1988; The Chomskyan Turn 1991]. Воздействие последнего на философию и психологию тех лет признавалось даже всеми теми, кто впоследствии оказался «по ту сторону баррикад», см. также [Harman 1988]. И вообще психология и лингвистика, которые уже давно имели общие точки соприкосновения, с 60-х гг. обнаруживают особенно тесные связи — проявляются они и в прямом сотрудничестве Миллера и Хомского [Wanner 1988: 143].

Нельзя не учитывать, что вся научная атмосфера тех лет была связана с осмыслением опыта войны как величайшего потрясения

века, а затем и как источника появления новых технологий и новых изобретений в промышленности. В конечном счете это не могло не сказаться и на особом направлении исследований в фундаментальных науках, поставленных на служение обществу и удовлетворению его потребностей, но вынужденных одновременно учитывать при этом и роль наблюдателя в науке, и роль исполнителя в овладении новыми технологиями. Интерес к поведению людей в разных экстремальных ситуациях и необходимость анализа планов и программ подобного поведения вызвал к жизни появление в психологии нового направления, противопоставлявшего себя господствовавшему тогда бихейвиоризму, методологию которого стали отвергать как несостоятельную и даже тупиковую. Опыт войны особенно ярко выявил ограниченность формулы «стимул — реакция», заставлявшей считать научными лишь непосредственно наблюдаемые явления. Фактически это не позволяло понять, почему у одного и того же человека и тем более у разных людей реакции на одни и те же стимулы могут оказаться диаметрально противоположными. Но без этого объяснения поведение человека оказывалось непредсказуемым. Было осознано, что в указанной диаде между стимулом и реакцией стоит действие множества факторов, до сих пор либо вообще не учитывавшихся, либо учитывавшихся недостаточно. Такими факторами и сочли внутренние состояния человека, т. е. явления психические, ментальные.

Внутренний мир человека — указывает впоследствии специалист по функциональной теории когниции Норман А. Андерсон — развился для выживания человека во внешнем мире; его структура, однако, принципиально отлична от того, что мы обнаруживаем в этом внешнем мире; теория же когнитивизма стала продвигаться вперед именно тогда, когда стала исследоваться внутренняя организация разума [Anderson 1996]. Унаследовав от бихейвиоризма интерес к поведению человека, зарождавшаяся когнитивная психология изменила, тем не менее, не только подходы к его изучению, но и само понимание человека. Согласно этим новым представлениям человека следовало изучать как систему переработки поступавшей к нему информации, когнитивная же психология должна заниматься, по словам ее создателя У. Найссера, «всеми процессами, в ходе которых сенсорные данные на входе трансформируются, редуцируются, обогащаются, откладываются для их хранения и используются»

[Reed 1996: 3]. Внутренние состояния человека обуславливаются всеми этими процессами, рефлексиями над ними, их возможной оценкой и т. п. Конечно, прав В. З. Демьянков, когда он отмечает, что «в науке нередок тот случай, когда в новой концепции слышны отголоски когда-то звучавших положений и проблем» и что «затронуло это *déjà vu* и когнитивизм» [Демьянков 1994: 17]. Но в зарубежной науке — притом достаточно единодушно — новая система взглядов стала оцениваться как революционная (в куновском смысле: ведь ее формирование и утверждение привело к выдвижению новой когнитивной парадигмы научного знания).

Признавая, что разработка генеративной грамматики осуществлялась в рамках когнитивной революции, которая принесла с собой новое понимание природы и поступков человека, Н. Хомский писал: «когнитивная революция проявляет заинтересованность в состояниях разума/мозга и в том, как они проявляются в поведении человека, особенно в его когнитивных состояниях: знания, понимания, интерпретации, веры и т. п. Подход к человеческому мышлению и деятельности в этих терминах делает психологию и такую ее составляющую, как лингвистика, частью естественных наук, занимающихся сущностью человека и ее проявлениями, а главное, мозгом» [Chomsky 1991: 4—5].

Но заниматься в лингвистике мозгом можно, по всей видимости, все же только тогда, когда среди когнитивных способностей человека выделяют особо языковую способность, способность говорить и понимать услышанное, а также тогда, когда мы, найдя способ охарактеризовать ее, сможем соотнести ее и с другими когнитивными способностями человека. По сути дела, это и предредило магистральный путь исследования будущей КЛ за рубежом. Именно при описании языковой способности и были впервые описаны знания языка, хранящиеся в голове человека и выступающие здесь в виде особых ментальных репрезентаций, см. подробнее [Кубрякова 1995: 184 и сл.]. Но ведь сам вопрос о представлении знаний в голове человека, об их репрезентации, а также положение о том, что совокупность подобных представлений формирует разум и интеллект человека, — это центральные вопросы для всей КН. Рассмотрение же самой значительной части подобных репрезентаций в языке и связи их с языком превращает лингвистику (вместе с психологией) в центр всех когнитивных поисков.

«Существует соблазн, — пишет Гилберт Харман, — приравнять когнитивную науку научному исследованию когниции», однако «лучше сказать, что когнитивная наука — это научное исследование языка и научное исследование когниции» [Harman 1988: 259], так как одно без другого вообразить попросту невозможно. Подобная проблематика, однако, уже не может быть охвачена одной психологией, и даже содружество психологии с лингвистикой оказывается для решения поставленных проблем явно недостаточным. Хотя КН формируется на базе двух указанных наук, убеждение в том, что «наступило время создать подлинную науку о человеческом поведении» [Neisser 1988: 83], а за это поведение «ответственны» разные типы деятельности разума с информацией, аналогичные в целом ряде отношений тем, что осуществляются вычислительными машинами (компьютерами), привлекает к созданию КН все более широкий круг исследователей из областей теории информации, моделирования искусственного интеллекта, компьютерологии. КН становится междисциплинарной. В ее задачи входит и описание/изучение систем представления знаний и процессов обработки и переработки информации, и — одновременно — исследование общих принципов организации когнитивных способностей человека в единый ментальный механизм, и установление их взаимосвязи и взаимодействия. Человек эволюционировал в мире, устройство которого явно подчиняется определенным закономерностям, а это значит, что развивающийся у него интеллект тоже должен быть устроен в соответствии с некими общими принципами, ср. [Shepard 1988: 45]. Познание мира вне нас состоит в постепенном открытии указанных закономерностей, и надо отдавать себе отчет в том, что структура окружающего человека мира, той экологической среды, в которую он погружен, не может не отразиться на формах познания мира, точнее, формах когниции, см., например, [Neisser 1988: 86—87].

Соответственно такому расширительному взгляду на разные формы осмысления мира и овладения знаниями о нем начинается становление ключевых для КН понятий когниции и когнитивных способностей / процессов / операций и т. д. Означавший первоначально просто «познавательный» или «относящийся к познанию», термин «когнитивный» все более приобретает значения «внутренний», «ментальный», «интериоризованный» и, наконец, «связанный

с когницией», причем в понятие это все чаще вкладывается новое содержание.

Можно привести немало разных трактовок этого понятия, но интересно отметить, что и сегодня, в ретроспективе, тоже подчеркивается исключительная роль лингвистики в его формировании. «Исследование языка за прошедшие полвека или около того, — пишут Ст. Андерсон и Д. Лайтфут в монографии 2000 г. о физиологических аспектах существования языка, — обеспечило когнитологов (cognitive scientists, т. е. буквально ‘когнитивных ученых’ — специалистов в области когниции!) моделями того, как можно изучать когницию в более общем плане. Лингвисты оказались в более счастливом положении, нежели другие ученые, изучающие разум, и именно потому, что наше знание языка ведет к множеству очевидных и обозримых последствий, а также потому, что оно гораздо более открыто для изучения, чем другие домены» [Anderson 2000: 16, с. XIII]. Оно может послужить прототипом для исследования когниции [Ibid.]. О том же, собственно, говорил и несколько раньше (в 1999 г.) и Жиль Фоконье, заметив, что «лингвистика становится чем-то большим, нежели замкнутая (selfcontained) область изучения языка; она вносит свой вклад в обнаружение и объяснение общих аспектов человеческой когниции» [Fauconnier 1999: 124].

Использование термина «когниция» при наличии, казалось бы, тождественного ему термина «познание» получает, таким образом, свое обоснование в их нетождественности друг другу. «Приняв термин “когниция” в качестве ключевого, — пишет В. З. Демьянков, — направление это обрекло себя на обвинения в перепевах в новых терминах того, что давно известно. Ведь когниция, познание, разум, *intelligentia* были предметом рассуждений с незапамятных времен» [Демьянков 1994: 17]. Но то же самое можно сказать о многих других терминах: проблемой понимания мира человеком тоже занимались издавна и тоже использовали при этом серию терминов (истолкование, трактовка, интерпретация), но в каждой новой системе взглядов они получали новое содержание: сегодня никто не будет спорить о том, что в герменевтике в термин вкладывается иное содержание, чем в традиционной лингвистике и что «необходимость создания единой междисциплинарной теории понимания сегодня подтверждается большинством специалистов когнитивного сообщества» [Поляков 1993: 15].

Конечно, КН обратилась к решению тех грандиозных проблем, которые всегда волновали логиков, философов, социологов, не говоря уже о лингвистике и психологии, но ведь сегодня к их решению стараются сознательно подойти сообща, т. е. объединяя усилия самых разных наук и вырабатывая при этом как некоторую общую систему допущений (assumptions), так и критически пересматривая накопившиеся по этому поводу знания в свете новейших достижений наук, которые ранее были неизвестны. Достаточно указать в этой связи на исследования в области искусственного интеллекта или на методики симуляции работы мозга на компьютерах, на экологию, теорию информации и т. д. и т. п. Новая парадигма научного знания — а когнитивизм являет собой именно новую научную парадигму — предлагает, по определению, новую систему взглядов, которая отнюдь не является простой суммой каких-то представлений и тем более не повторяет традиционных трактовок своих ключевых понятий.

Возможно, что некоторые неверные суждения о смысле КН связаны как раз с непониманием исходного для нее термина «когниция», а это объясняет попытки наших отечественных ученых предложить когниции собственную интерпретацию. Одни ученые подчеркивают при этом принципиальное отличие познания научного и вненаучного: первого как предполагающего поиски объективной истины, а второго — как прагматически ориентированного и направленного на принятие разумного решения в той или иной ситуации (т. е. решения с позиций здравого смысла). «На уровне обыденного сознания, — отмечает В. В. Лазарев, последовательно рассматривающий противопоставление научного постижения мира и когниции как процессов обыденного сознания в актах непосредственного восприятия мира, — человек видит мир иначе во всем по сравнению с тем, как его видит наука» и далее утверждает: «очевидно, что обыденные формы освоения действительности имеют корни и основания, разительно отличные от оснований научного познания. В структуре мышления научное познание является лишь надстройкой над обыденным сознанием, которое столь же древнее, как сам человек» [Лазарев 2000: 85—86; 19]. Но не вырастает ли наука из обыденных потребностей человека? Все ли так просто с «разительным отличием» одних форм познания от других? Да и можно ли согласиться с конечным выводом автора, что термин «когнитивный» и означает «обыденный»?

Дело, пожалуй, все же заключается в ином: когниция охватывает любые формы постижения мира, а начинаются они с первых контактов человека с окружающей его средой; поведение человека адаптивно, а потому когниция — формирование сведений о мире — постоянно происходящий и постоянно продолжающийся процесс. Как указывает Ж. Фоконье, для него (как для когнитолога) когниция — а она является предметом анализа и в КН и в КЛ — это прежде всего как бы «закулисная когниция» (*backstage cognition*), т. е. скорее неосознанно протекающая деятельность по приспособлению человека к среде [Fauconnier 1999: 125]. Однако, действительно, акцент на то, каким мы видим мир, как воспринимаем те или иные ситуации в обычной жизни, у когнитологов, несомненно, преобладает. Это проявляется особенно четко и при изучении процессов концептуализации и категоризации мира, т. е. той области, в которой когнитивной семантике удалось добиться наибольших результатов. В каком-то смысле можно утверждать, что для них больший интерес представляют результаты восприятия мира, нежели результаты научного познания. Отсюда и положение о том, что если мы хотим сделать теорию когниции адекватной (функциональной), мы не можем отрицать того факта, что эта теория является в первую очередь когнитивной теорией повседневной жизни и что многие концепты обыденного сознания для этой теории бесценны, см. [Anderson 1996: 1, 34].

Таким образом, если отбросить использование рассмотренных терминов в целях следования моде, вряд ли можно согласиться с тем, что, например, термин «когнитивный» «размыт и почти пуст» [Фрумкина 1996: 55]: он скорее функционально перегружен, но отдельные его значения легко дифференцируются в разных контекстах.

Дополняя сказанное выше о когниции, можно также обратить внимание и на определение понятия знаний: последние тоже не связываются исключительно со сведениями, полученными в какой-либо науке или в специальной научной деятельности. Более того, как пишет Ст. Рид, когницию обычно характеризуют как приобретение знаний, но в виду при этом имеются также навыки и умения — например, сказывающиеся при распознавании образов, концентрации внимания, решении проблем и т. д. Путь от сенсомоторных ощущений до формирования их ментальных репрезентаций — это сложный конструктивный процесс, в ходе которого наблюдается

использование знаний и умений, — это не пассивная регистрация ощущений [Reed 1996]. Одной когнитивной психологии для описания всех перечисленных процессов опять-таки недостаточно — как потому, что многие из них непосредственно связаны с языком, так и потому, что их анализ в эксперименте заставляет исследователей обратиться к методам математического моделирования и проверке гипотез на компьютерных программах.

«Многие теоретики понимают сегодня, — писал У. Найсер еще в конце 80-х гг. прошлого века, — что сама когнитивная психология — это только часть более широкой и важной программы, “когнитивной науки”, которая охватывает также искусственный интеллект, лингвистику, нейрофизиологию и философию разума» [Neisser 1988: 87]. Однако тенденции развития КН за последние десятилетия оказались и в этом отношении противоречивыми. С одной стороны, действительно, КН подчиняла себе и вовлекала в свои исследования все большее количество разных наук. Уже сложились такие дисциплины, как когнитивная антропология, когнитивная социология и даже когнитивное литературоведение и т. д., т. е. почти в каждой гуманитарной науке выделилась специальная область, связанная с применением когнитивного подхода и когнитивного анализа к соответствующим объектам данной науки. Но свидетельствует ли это об укреплении междисциплинарных связей как таковых или же мы имеем дело прежде всего с распространением когнитивной методики на новые области знания? В этом отношении очень показательна история возникновения когнитивной лингвистики.

В специальной литературе возникновение КЛ связывается с точной датой — 1989 г., когда собравшиеся на научной конференции в Дуйсбурге, Германия, вынесли решение о создании ассоциации по КЛ и как бы провозгласили ее отдельной веткой современной лингвистики. С этого времени стал печататься и журнал «Cognitive Linguistics». Фактически, однако, к этому времени уже были хорошо известны многие труды ученых, по праву считающиеся сегодня «классическими» для первого периода существования КН и, несомненно, давшие миру первые образцы применения когнитивного подхода к явлениям языка. Среди таких работ можно назвать и когнитивную грамматику Р. Ленекера, и многие работы Л. Тэлми, и исследования Дж. Лакоффа и М. Джонсона и, наконец, работы Ж. Фоконье. Можно с полным на то основанием утверждать, что

в принципе к указанному времени четко вырисовываются контуры новой парадигмы знания в самой лингвистике, ибо все ее конститутивные признаки налицо: сформулированы установки когнитивного подхода, выделены главные объекты анализа, уже определены ключевые понятия и т. д. Уже представлены также разные направления в когнитивном исследовании языка и определились лидеры и ведущие фигуры в разных школах КЛ. Осветить главные принципы КЛ и определить актуальные проблемы этой науки, не обращаясь к тому ее периоду, просто невозможно. В этой связи и надлежит обратить внимание на два следующих обстоятельства.

Первое из них заключается в том, что в 70-е и 80-е гг. XX в. связи КН и КЛ носили более выраженный характер. Как мы пытались показать в первой части статьи, КН и КЛ развивались в тесном содружестве друг с другом: они не только взаимообогащали друг друга, они совместно разрабатывали исходную систему взглядов, получивших название когнитивизма. Но чем более продвинутыми становились самостоятельные исследования собственно лингвистического характера, чем более специальными они становились, тем большее влияние, как кажется, они оказывали на формирование когнитивных областей знания в других науках, тем обособленнее становилось развитие самой КЛ. Она продолжала решать поставленные в КН задачи, но, решая их на таком богатом, разнообразном и до этого тоже хорошо изученном материале, как язык, КЛ начинала вырабатывать свои собственные версии когнитивизма, свои собственные методики; она начала выступать как задающая вопросы другим наукам и требующая разъяснения по разным проблемам, связанным с порождением и восприятием речи, с особенностями обработки информации в языке (*Sprachverarbeitung*), с устройством ментального лексикона и памяти и т. д., от специалистов по биологии, медицине, физиологии и, конечно, нейрологии.

Второе же обстоятельство касается развития теоретической лингвистики у нас в стране. Вопрос о высоком уровне нашей лингвистики, об исключительном разнообразии представленных здесь концепций языка и их самобытности — это, конечно, особая тема для лингвистической историографии, требующая самого серьезного внимания. И все же хотелось бы отметить, что весь период с 60-х гг. XX в. до настоящего времени характеризовался несколькими важными чертами: неприятием основной частью нашего лингвистиче-

ского сообщества трансформационной, а позднее — и генеративной грамматики, созданием собственных версий грамматик формальных, расцветом системно—структурных исследований (особенно — по семантике), выдвижением оснований функциональной грамматики и т. д. Все перечисленные мной направления (а наряду с ними, конечно, и некоторые другие) формировались в соответствии с собственными традициями, а зарубежные концепции всегда принимались или же не принимались не столько в силу известного консерватизма или приверженности своим школам, сколько по причине следования сложившейся системе взглядов и исходных принципов того, что называлось «советским языкознанием». Только на этом фоне можно понять и судьбы когнитивизма, получившего у нас в конечном итоге свое признание примерно с 90-х гг. прошлого века благодаря его обращению к темам, всегда волновавшим отечественное языкознание: языку и мышлению, главным функциям языка, роли человека в языке и роли языка для человека.

Не могу не отметить в этой связи и такого направления в теоретической лингвистике тех лет, как ономазиологическое, когда специальному анализу подверглась такая важнейшая функция языка, как номинативная и когда лежащая в основе такого анализа теория номинации получила свое глубокое освещение в целом ряде исследований, по сути дела подготовивших почву и для распространения у нас когнитивного подхода. Ведь номинативная деятельность понималась нами как речемыслительная, требовавшая при наречении фрагментов мира и всего сущего в окружающей человека действительности использования всех ресурсов языка и их постоянного соотношения с самими обозначаемыми реалиями. В исследованиях этого рода выявилась очевидная зависимость совершаемых человеком актов номинации от множества факторов, начиная от личностных до исторических, социальных, культурологических. Идея изучить роль человеческого фактора в языке органично вписалась в размышления о лингвокреативной деятельности человека, о создаваемой им языковой картине мира, о возможностях языка самому создавать новые сущности путем их номинальных определений.

С современной точки зрения такие исследования следует расценить именно как когнитивные, и хотя в них еще не присутствуют собственно когнитивные термины или понятия, по всему своему духу и ориентации иначе, чем как когнитивными, их назвать трудно.

Впрочем, с 1990-х гг. начинается и использование в этих работах чисто когнитивной терминологии. Выполненный под руководством академика Б. А. Серебренникова цикл исследований и сегодня ничуть не потерял своей значимости, и если зарубежные когнитологи и любят говорить о том, что у КН короткая история, зато — богатое прошлое, предтечи когнитивизма сегодня не случайно обнаруживают и у А. Ф. Потебни, и у Л. С. Выготского. Интерпретировать исследования указанного цикла с этой точки зрения тоже очень полезно: уже в них прослеживается явная связь речевых структур с мыслительными, причем связь, зависящая от контекста создания таких структур в речевой деятельности и напрямую обусловленная интенциями говорящего и более общим замыслом всей осуществляемой им деятельности по порождению речи. Второе обстоятельство, о котором я говорю, характеризуя предпосылки развития у нас новой парадигмы знания, касается, следовательно, зарождения внутри ономасиологического направления и в исследованиях роли человеческого фактора в языке собственного видения проблем соотношения языковых структур с мыслительными, которые могут быть успешно решены только при синтезе когнитивного подхода с коммуникативным. В то же время, поскольку цели настоящего сообщения гораздо более ограничены и касаются прежде всего когнитивной составляющей названной парадигмы знания (т. е. парадигмы когнитивно-дискурсивной), в завершающей части данной работы я остановлюсь на некоторых линиях развития КН за последнюю четверть века, с тем чтобы проанализировать, насколько изменения и преобразования в КН могут сказаться (а возможно, уже и сказываются) на конкретной деятельности лингвистов в КЛ, а также насколько они отражаются на актуальных проблемах КЛ.

Первая линия развития КН касается требования междисциплинарности исследований, проводимых под эгидой КН. Вскользь мы уже упомянули о том, что за сорокалетний период существования КН объединение разных наук принимало разные формы. Уже в начале 80-х гг. прошлого века Ф. Джонсон-Лэрд подчеркивал: «... Разум чересчур сложен для того, чтобы прямо увидеть его или даже изучать с точки зрения какой-либо одной науки». По его мнению, только синтез наук может способствовать пониманию сути когниции, а подобный синтез предполагает союз экспериментальной психологии, лингвистики и искусственного интеллекта [John-

son-Laird 1983, XI]. Фактически, однако, налаживание связей и их поддержание стало делом отдельных школ, а кооперация представителей разных дисциплин возникает лишь время от времени. Перекрестные связи нескольких наук пока остаются в пространстве желаемого, а ведущим типом связи — попарное объединение наук для решения достаточно конкретной задачи. И хотя лингвистика является в этом отношении заметным исключением, по своему характеру точки соприкосновения ее с другими дисциплинами сводятся скорее к заимствованиям из научного аппарата этих дисциплин нескольких новых понятий (информации, противопоставления фона и фигуры, фокусировки внимания, сканирования и т. д.). Между тем даже короткие периоды сближения лингвистики с другими науками таят в себе и некоторую опасность. Смущает не только размывание границ между, казалось бы, самостоятельными науками (в конце концов это приводит к возникновению новых «сдвоенных» наук типа психолингвистики, социолингвистики, антропологической лингвистики, лингвокультурологии и т. д.), но скорее, с одной стороны, известная потеря интереса к традиционным для лингвистики темам, связанным с эмпирическими описаниями языка, а с другой, подмена проблем теоретической лингвистики проблемами физиологической или биологической стороны языковых явлений.

Не считаю себя вправе судить о том, во что лингвистика не должна превращаться, или вступать в полемику о том, частью какой науки она является — семиотики, психологии, биологии и т. п. Наверно, для лингвиста важнее всего то, что она сама занимается настолько сложным и уникальным объектом — языком, что может и должна поставлять другим наукам необходимые для них сведения о языке и вступать с этой целью в союз с разными науками, но только не ценой потери собственной самостоятельности! В настоящее время она исключительно важна для получения данных о деятельности разума. Это и составляет предмет лингвистики когнитивной. Уже давно полагали, что язык открывает окно в окружающий нас мир; сегодня правильно полагают, что язык — это окно в духовный мир человека, в его интеллект, средство доступа к тайнам мыслительных процессов, и этот поворот в лингвистике заслуживает самого серьезного к нему отношения. Возможно, что для дальнейшего продолжения подобных исследований понадобится создание нейролингвистики и выдвижения нейронных теорий языка, см. подроб-

нее [Lakoff 1999: 110 ff.]; возможно, что на повестку дня встанет возникновение биолингвистики, см. подробнее [Kravchenko 2002], но все же, в каких бы ипостасях нам ни предстояло изучать язык в будущем, величайшей ценностью останутся для нас сами эмпирические сведения о языках и отдельно взятом языке, а следовательно, и задачи разработки адекватных средств и способов его описания.

Даже признавая предлагаемое Н. Хомским противопоставление И-языка (языка интериоризованного, внутреннего, данного в виде ментальной когнитивной способности человека) и Э-языка (экстериоризованного, экстенционально ориентированного и стремящегося вовне), а также полагая, — в отличие от Хомского, см. [Chomsky 1991: 9 ff.], — что право на научное исследование имеет и тот, и другой, не следует забывать, что именно выведенный вовне язык существует для нас как первичная данность. Чересчур сильный крен в сторону нейронаук, или биологии, или физиологии уводит нас от непосредственного объекта лингвистического анализа.

Уже в 80-е гг. против этого предупреждали и некоторые когнитологи. Главным уроком КН, по признанию Ф. Джонсон-Лэрда, является мысль о необходимости изучать разум независимо от исследования мозга: психологией, соответственно, можно заниматься независимо от данных нейрофизиологии, которая описывает материальный субстрат мозга [Johnson-Laird 1983: 9]. То же самое можно, наверно, сказать и про когнитивную лингвистику: соотнесение языковых форм с их когнитивными аналогами и прежде всего — с определенными структурами знания определенных форматов может производиться независимо от того, как «существуют», «записаны» или «распределены» эти формы в нейронной ткани мозга. Все эти формы (единицы, категории, их объединения по разным параметрам и признакам) должны изучаться именно как языковые: соотнесение их с разными когнитивными структурами — это только способ объяснить их особенности или функциональные характеристики. Когнитивное же объяснение — это рассмотрение указанных форм в определенной системе координат, точки отсчета в которой обуславливаются участием форм в познавательных процессах и всех видах деятельности с информацией. КН ставит своей целью определить в полном объеме когнитивную функцию языка. Долгое время эта функция считалась связанной с репрезентацией мира в языке и с такой задачей разума, как осуществление мышления.

Но вторая линия развития КН оказалась связанной в изучаемые годы с перемещением тяжести с изучения мышления на изучение сознания (consciousness). Как пишет Н. Андерсон, современное когнитивное направление вернуло сознание из ссылки [Anderson 1996: 1 ff.], но чтобы его описать адекватно, следует учитывать не только то, что происходит на уровне сознаваемого: для исследования сознания особенно важны аффекты и эмоции [Ibid.: 17]. Сознание считается такой составляющей инфраструктуры мозга, в которой сосредоточен весь ментальный опыт, усвоенный человеком за время его жизни и отражающий накопленные человеком впечатления, ощущения, представления и образы в виде смыслов, или концептов единой концептуальной системы. Языковое сознание как совокупность смыслов, имеющих языковую привязку, — только часть сознания в целом, точно так же, как мышление — только часть ментальных процессов, осуществляемых в сознании (их нередко связывали в советском языкознании с так называемым «речевым мышлением»).

При интердисциплинарном исследовании сознания встают многочисленные вопросы о загадках ментальной логики и процессах умозаключения, о природе ментальных репрезентаций и том, как они соотносят язык и реальность; по словам Ф. Джонсон-Лэрда, надо обязательно проследить за процессами, благодаря которым значения предложения конструируются из значений его частей и в зависимости от грамматических отношений между ними, надо обнаружить, как интерпретация дискурса складывается из значения предложений, надо, наконец, прояснить сущность интенциональности и самосознания [Johnson-Laird 1983: XI]. Нельзя не обратить внимания в этом перечне задач, насколько они связаны с лингвистикой как таковой и насколько они остаются актуальными и для настоящего времени.

Замечу в то же время, что сам знаменитый психолог приходит в конце книги к пессимистическому заключению о том, что «никто в действительности не знает, что такое сознание, что оно делает и выполнению каких функций служит» [Ibid.: 448]. Однако намеченные в этой монографии направления в изучении сознания, как кажется, остаются весьма важными. Остается только пожалеть, что имеющиеся в области когнитивной лингвистики исследования все же мало известны в отечественной психолингвистике, где изучение

сознания вообще и языкового сознания в частности принимает иные формы, см., например, [Пищальникова 2003: 24, 25].

Не будучи специалистом в этой поразительно сложной области знания, я могу лишь указать на то, что именно при исследовании сознания в КН когнитологи должны были принять во внимание тонкие различия между когнитивно осознаваемым и неосознаваемым, необходимость специального анализа такой составляющей сознания, как эмоции и интенции, но, конечно, главное, — связь сознания с концептуально освоенной реальностью и природой концептов, характеризующих сознание. Отсюда интерес к процессам концептуализации и категоризации мира. В теоретическом плане это привело к известному противопоставлению концептуалистов и когнитологов как занимающихся разными аспектами указанных процессов. Пожалуй, можно было бы даже сказать, что попытки более строгой дифференциации названных процессов и даже отдельное их изучение некоторыми специалистами составляют третью особенность КН и КЛ в настоящее время, не только помещая относящиеся сюда проблемы в поле зрения многих ученых, но и считая эти проблемы по-прежнему наиболее актуальными и требующими новых решений. Ср., например, [Попова, Стернин 2001: 17]. Поскольку именно процессам категоризации и концептуализации мира в КЛ уделялось и уделяется основное внимание, а в специальной литературе они уже получили подробное освещение (как при анализе прототипической и фреймовой семантик, так и при осуществлении конкретных работ в этом русле), мы довольствуемся здесь тем, что указываем на по-прежнему существующий огромный интерес к этим проблемам. Собственно говоря, нет ни одного введения в КН или когнитивную семантику, где им не было бы посвящено особых глав, да и достижения в области понимания строения категорий и определения концептов в КЛ, по-видимому, наиболее впечатляющи.

Особый путь решения вопросов о разуме и сознании можно считать четвертой отличительной чертой КН и КЛ: он связан с выдвиганием понятия «воплощенности» или даже «телесности» разума, см. [Lakoff 1999]. Иными словами, подчеркивается экзистенция сознания в буквальном смысле как материально организованного образования — мозга. Хотя о нежелательности целого ряда последствий такой онтологизации сознания мы уже говорили выше, сами экспериментальные исследования нейронной ткани

мозга, безусловно, необходимы, а существующие модели деятельности мозга, при всей их спорности, предоставляют в наше распоряжение интересные аналогии семантических и нейронных сетей и позволяют строить предположения о механизмах активации разных участков мозга при осуществлении человеком разных типов речемыслительной деятельности.

Нельзя также не отметить достаточно очевидных связей между положением о воплощенности разума и разуме как составной части биопрограммы человека или даже разуме как функции нейронных сетей и т. д., а главное, — связей между всеми этими положениями и новой философской базой всего когнитивизма. Изменения в этом направлении — пятая отличительная черта в современном статусе КН, все больше характеризующейся отходом от его первоначальных (хомскианских) установок и даже иногда открытым антихомскианством. Тогда как КН стояла, а в некотором отношении, по всей видимости, продолжает стоять на позициях картезианского дуализма (с дихотомией тела и духа), КЛ (в лице представителей школы Дж. Лакоффа, М. Джонсона и их последователей) делает решительный шаг в сторону так называемого реалистического экспериенциализма, или экспериенциального реализма. По справедливому мнению А. В. Кравченко, подобный поворот в рассмотрении извечной для философии дихотомии души и тела самым радикальным образом сказывается в настоящее время на рассмотрении всех ключевых понятий КН и КЛ и понимании природы ментальных репрезентаций, концептов, категорий, а в конечном итоге — и значения [Kravchenko 2002: 42 ff.]. Дополним эти соображения мнением еще одного исследователя философских оснований когнитивизма, останавливающегося в этой связи на трактовке понятия «воплощения» (embodiment) в работах когнитивного толка. По мнению Т. Рорера, объявив себя междисциплинарной наукой, КН должна уделить гораздо большее внимание более широкому спектру проблем, вызванных к жизни когнитивизмом в целом ряде подчиненных ему дисциплин, но как бы не учитываемых в формулировках и установках самой КН [Rohrer 1999: 38—39]. Познание, результаты которого материализуются в языке, т. е. получают языковую форму их «воплощения» (embodiment), демонстрирует зависимость когниции от множества прагматических и даже идеологических факторов; понять это обстоятельство могут помочь такие

разные дисциплины, как антропология и нейроанатомия, компьютерология и психология: в философском смысле это означает переход от теории, базирующейся исключительно на знаках и операциях со знаками, к теории, учитывающей позицию наблюдателя и его прагматические потребности [Rohrer 1999: 39].

Неожиданной критике подверглись философские позиции КН и КЛ и со стороны Р. Э. Джоунза (из Шеффилдского университета в Великобритании), отметившего, что в противопоставлении «объективизма» и «реализма» когнитологи школы Дж. Лакоффа и М. Джонсона оказываются фактически не столько представителями материализма (что подчеркивается ими неоднократно при введении понятия «реального экспериенциализма», т. е. знания, полученного опытным путем и в результате обработки именно телесного, сенсомоторного опыта — *bodily experience* в первую очередь), сколько, напротив, представителями релятивистских и даже идеалистических концепций [Jones: 43]. Ни Лакофф, ни Джонсон, делая свои замечания в адрес «объективистов», не обращаются вообще к учению марксизма, в котором уже 140 лет его основатели ясно показали, к чему ведет на практике следование «экспериенциализму» (в их критике эмпириокритицизма и эмпириомонизма). Фактически различие между рассматриваемыми философскими течениями (идеологиями) заключается в их отношении к достижению в науке объективной и абсолютной истины. По мнению ученых когнитивного направления, истина не является ни абсолютной, ни объективной, но относительной — относительной, поскольку она отражена человеком, мир же существует вне зависимости от его сознания. Этот вывод кажется Джоунзу неоправданным: реализм (марксизм) преодолевает этот недостаток. Достижение объективного знания человеком вполне возможно, что и показывает человек на практике — если б он отражал свойства объективно существующего мира неправильно, его действия в этом мире и вся его активность не достигали бы своей цели. Сама практика человека оказывается поэтому доказательством явных корреспонденций между реальностью (вне нашего сознания) и ее освоением в концептах человеческого разума [Ibid.: 44]. Что же касается понимания телесного опыта (*bodily experience*) и его значимости для КН и для КЛ, хотелось бы все же отметить, что не следует интерпретировать его чересчур буквально, т. е. связывая его исключительно с сенсомоторными ощущениями, появляющимися в актах

непосредственного восприятия окружающей нас действительности. По мнению Лакоффа и Джонсона, именно сенсомоторная часть нашего восприятия ответственна за формирование базовых концептов человеческого опыта: реализованным (воплощенным) концептом можно считать определенную нейронную структуру (пакет нейронов), являющуюся частью мозга или использующую какую-либо из его чувственной ткани [Lakoff 1999: 20]. Не сомневаясь в том, что у истоков концептуализации человеческого опыта оказывались концепты, основанные на телесном опыте и обобщающие опыт тела (т. е. его рецепторов, воспринимающих реальность в диапазонах, предписанных биопрограммой человека), полагаем вместе с тем, что с развитием человека подобный опыт выходил далеко за пределы прямого восприятия мира в ситуациях присутствия человека в этих актах и непосредственного его столкновения с тем или иным фрагментом реальности. Из опыта наглядного такой опыт перерастал в нечто гораздо большее и гораздо более сложное. С одной стороны, в силу способности человека к разумным умозаключениям, а с другой, — в силу развития инструментальных методов в разных фундаментальных науках, человек неизбежно переходил от прямого созерцания природы и непосредственных наблюдений за нею к осмыслению непосредственно ненаблюдаемого. Вследствие этого радикально менялись и наши представления о подлинной сути вещей, а значит, и представления о том, что такое вообще «опытные данные». Человек не только обозначал мир, но и описывал его. В таких описаниях рождались новые концепты, эмерджентные свойства которых не были, так сказать, даны заранее или же предусуществовали их объективации в языке. Их появление — это результат аргументации языковой, следствие дискурсивной деятельности человека, о которой можно говорить как о деятельности речемыслительной, да еще и осуществляемой в совершенно определенных исторических, культурологических и особых прагматических условиях. В этих ситуациях новые концепты возникают в результате их номинального определения.

Теоретическим выводом из всего сказанного можно считать выдвижение в качестве новой парадигмы лингвистического знания парадигмы когнитивно-дискурсивной, синтезирующей в своих установках и исходных допущениях некоторые из установок когнитивизма и КЛ, с одной стороны, но корректирующих

эти установки, с другой, за счет исходных положений парадигмы коммуникативной.

Иначе говоря, согласно теоретическим представлениям в этой новой парадигме, по сути своей парадигме функциональной, при описании каждого языкового явления равно учитываются те две функции, которые они неизбежно выполняют — когнитивная (по их участию в процессах познания) и коммуникативная (по их участию в актах речевого общения). Соответственно, каждое языковое явление может считаться адекватно описанным и разъясненным только в тех случаях, если оно рассмотрено на перекрестке когниции и коммуникации.

Научное исследование любого языкового явления может, естественно, принимать либо форму когнитивно-ориентированного анализа, либо форму анализа прагматически или же коммуникативно (дискурсивно) ориентированного, но требование такого отдельного описания может быть понято только как условность описания. Теоретически же, конечно, явно предпочтительно такое описание языковой формы, которое учитывает и ее содержание, и ее конкретную «упаковку». Пожалуй, именно этим — т. е. возможностью и необходимостью соотнесения формы и содержания языкового знака (и других языковых единиц) — и объясняется для нас привлекательность КЛ, которая ставит своей целью (в актах подобного соотнесения) не только поставить в соответствие каждой языковой форме ее когнитивный аналог, ее концептуальную или когнитивную структуру (объясняя тем самым значение или содержание формы через определенную когнитивную структуру, структуру мнения или знания), но и объяснить причины выбора или создания данной «упаковки» для данного содержания.

Этим последним соображением мы и завершаем данную работу, ибо оно позволяет понять, как перейти от общих установок когнитивно-дискурсивной парадигмы к более конкретной и более, на наш взгляд, реалистичной программе когнитивных исследований в теоретической лингвистике, а значит, и сформулировать — пока хотя бы в самой общей форме — наиболее актуальные проблемы современной когнитивной лингвистики.

ЛИТЕРАТУРА

- Демьянков 1994 — Демьянков В. З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // Вопросы языкознания. 1994. № 4.
- Залевская 2003 — Залевская А. А. Языковое сознание: вопросы теории // Вопросы психолингвистики. 2003. № 1.
- Кубрякова 1995 — Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца 20 века. М., 1995.
- Кубрякова и др. 1996 — Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Лузина Л. Г., Панкрац Ю. Г. Краткий словарь когнитивных терминов. М.: Изд-во МГУ им. М. В. Ломоносова, 1996.
- Кубрякова 1997 — Кубрякова Е. С. Части речи с когнитивной точки зрения. М.: ИЯ РАН, Тамбов. гос. унт, 1997.
- Кубрякова 2000 — Кубрякова Е. С. Вступительное слово к Круглому столу, посвященному рассмотрению традиционных проблем языкознания в новом свете // Мат-лы Круглого стола. Апрель 2000 г. М.: ИЯ РАН, 2000.
- Кубрякова 2001 — Кубрякова Е. С. Размышления о судьбах когнитивной лингвистики на рубеже веков // Вопросы филологии. 2001. № 1 (7).
- Лазарев 2000а — Лазарев В. В. К теории обыденного / когнитивного познания (От Коперника к Птолемею // Вестник Пятигорского гос. лингвист. унта. Пятигорск. Вып. 2. 2000.
- Лазарев 2000б — Лазарев В. В. Когнитивная парадигма: исторические предпосылки и современные реалии // Вестник Пятигорского гос. лингвист. унта. Пятигорск. Вып. 2. 2000.
- Пищальникова 2003 — Пищальникова В. А. Языковое сознание: устоявшееся и спорное: По мат-лам XIV Междунар. симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации // Вопросы психолингвистики. 2003. № 1.
- Поляков 1993 — Поляков В. Когнитивная парадигма в языкознании и новые вызовы // Когнитивное моделирование в лингвистике: Сб. докл. Варна; М., 1993.
- Попова, Стерт 2001 — Попова З. Д., Стерт И. А. Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж, 2001.
- Фрумкина 1995 — Фрумкина Р. М. Есть ли у современной лингвистики своя эпистемология? // Язык и наука конца 20 века. М., 1995.
- Фрумкина 1996 — Фрумкина Р. М. «Теории среднего уровня» в современной лингвистике // Вопросы языкознания. 1996. № 2.

- Anderson 1996 — *Anderson N. H.* A Functional Theory of Cognition. Mahwah (NJ), 1996.
- Anderson, Lightfoot 2000 — *Anderson St. R., Lightfoot D. W.* The Language Organ. Linguistics as Cognitive Physiology. Cambridge (Mass.), 2000.
- Chomsky 1991 — *Chomsky N.* Linguistics and Adjacent Fields: A Personal View // *A. Kashez* (ed.). The Chomskyan Turn. Oxford, 1991.
- Fauconnier 1999 — *Fauconnier G.* Methods and Generalizations // Cognitive Linguistics, Foundations, Scope, and Methodology. Berlin; N. Y., 1999.
- Harman 1988 — *Harman G.* Cognitive Science? // The Making of Cognitive Science. Cambridge (Mass.), 1988.
- Johnson-Laird 1983 — *Johnson-Laird P. N.* Mental models. Towards a cognitive science of language, inference, and consciousness. Cambridge (Mass.), 1983.
- Jones — *Jones P. E.* Cognitive Linguistics and the Marxist approach to Ideology.
- Kravchenko 2002 — *Kravchenko A. V.* Cognitive linguistics as a methodological paradigm // *B. LewandowskaTomaszczyk, K. Turewicz* (eds.). Cognitive Linguistics Today. N.p., 2002.
- Lakoff 1988 — *Lakoff G.* Cognitive Semantics // *U. Eco et al.* (eds.). Meaning and Mental Representations. Bloomington, 1988.
- Lakoff 1999 — *Lakoff G.* Integrating Cognitive Linguistics and the Neural Theory of Language // Abstracts of the 6th International Cognitive Linguistics Conference 10—16 July 1999. Stockholm, 1999.
- Lakoff, Johnson 1999 — *Lakoff G., Johnson M.* Philosophy in the Flesh. The embodied mind and its challenge to Western thought. N. Y., 1999.
- Neisser 1988 — *Neisser U.* Cognitive recollections // The Making of Cognitive Science. Cambridge; N. Y., 1988.
- Reed 1996 — *Reed St. K.* Cognition. Theory and Application. Pacific Grove, 1996.
- Rohrer 1999 — *Rohrer T.* Pragmatism, Ideology and Embodiment: William James and the philosophical foundations of cognitive linguistics // Abstracts of the 6th International Cognitive Linguistics Conference... Stockholm, 1999.
- Shepard 1991 — *Shepard R. N.* George Miller's data and the development of methods for representing cognitive structures // The Making of Cognitive Science. Cambridge; N. Y., 1988.
- The Chomskyan Turn / Ed. by A. Kashez. Oxford, 1991.
- The Making of Cognitive Science / Ed. by W. Hirst. Cambridge (Mass.); N. Y., 1988.
- Wanner 1988 — *Wanner E.* Psychology and linguistics in the sixties // The Making of Cognitive Science. Cambridge (Mass.), 1988.

О МЕСТЕ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ СРЕДИ ДРУГИХ НАУК КОГНИТИВНОГО ЦИКЛА И О ЕЕ РОЛИ В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОЦЕССОВ КАТЕГОРИЗАЦИИ И КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ МИРА

На современном этапе развития науки наблюдается изменение отношения к когнитивной науке (далее — КН) — она получает официальное признание. Ведь факт государственной поддержки означает не только открытие новых центров по когнитивным исследованиям в крупнейших университетах и вузах страны. В известной мере он кладет запрет на отрицание ее значимости для общества в целом — во всяком случае, на публичных мероприятиях. Но гораздо важнее оказывается тот факт, что внимание общественности должно быть привлечено и к развитию КН, и популяризации ее задач, и к подготовке новых научных кадров. Все это, конечно, очень радует тех ученых, которые, борясь со скептическим отношением к КН вообще и когнитивной лингвистике в частности, посвятили свою деятельность делу ее продвижения и разъяснения, по крайней мере, в течение двух последних десятилетий. Мы просто должны продолжить эту работу и всячески содействовать ее совершенствованию.

Вместе с тем возрастает роль непосредственно когнитивной лингвистики (далее — КЛ) среди других наук когнитивного цикла, происходит утверждение мнения о ней как едва ли не системообразующей дисциплине — наряду с психологией — а значит, и разъяснение ее особого места в когнитивной парадигме научного знания в целом. Это объясняется спецификой роли КЛ абсолютно во всех процессах категоризации и концептуализации мира, осуществляемых людьми — притом как в обыденной их жизни, так и, естественно, в деятельности научной. Никакое обобщение человеческого опыта было бы невозможно вне языка, без языка: от одного человека к другому, а главное, от одного поколения к другому, была бы невозможна передача и знаний, и умений, и всего

накопленного опыта по взаимодействию людей с миром; лишь существуя в виде системы знаков, язык и совершает свою главную задачу. Он объективирует всю информацию, поступающую к человеку **извне** с помощью материальных знаков, обеспечивает все виды деятельности с информацией, либо давая обозначения ее отдельным фрагментам, либо служа их аналитическим дескрипциям и их описанию.

В принципе можно с полным на то основанием утверждать, что вся деятельность по категоризации мира, то есть по распределению по особым группировкам, классам и т. п. — по **категориям**, носит всегда в конечном счете **языковой характер**. Не будучи воплощенной в языковые единицы, языковые формы, комбинации этих единиц и этих форм в дискурсе, ни сама эта деятельность, ни подведение ее **итогов**, просто не могли бы существовать. Никакие науки, никакие отрасли знания, никакие теоретические и практические виды деятельности невозможны без создания терминологических систем, без оформления научного (языкового) аппарата их представления. Но то же относится и к простому обмену мнениями между людьми, а следовательно, и созданию средств их выражения. Обо всем этом и следует напомнить еще раз не только для констатации в качестве главной функции языка, ее **ориентирующей функции**, как мы об этом неоднократно писали и ранее, и не только для того, чтобы подчеркнуть значимость языка в создании любых терминологических систем. Главное — отметить всю важность теоретической лингвистики как таковой, занимающейся разработкой относящихся сюда проблем, и, конечно, ответственность лингвистов, особенно лингвистов-когнитологов, впервые поставивших в пределах своей КН вопросы о **конструировании** мира (*the construal of the world*) при его «портретировании», а точнее, при его интерпретации и «преломлении» в языке. Мне кажется, что само введение этого термина в КН явилось следствием отказа от мысли о том, что язык отражает мир и что вообще онтологически существующая вне нас реальность может быть, так сказать, в готовом виде представлена в языке, как в зеркале. Эту метафору — об отражении мира в языке — следует, на наш взгляд, трактовать антропоцентрически, то есть в том смысле, что в языке окружающая нас действительность предстает в том виде, в котором она воспринята — увидена, осмыслена, понята человеком.

Мир расчленен человеком и представлен в разных языках по-разному именно потому, что в каждом естественном языке он выступал исключительно в виде итогов по-разному протекавших в соответствующих языках процессах категоризации и концептуализации мира. Приходится в этой связи указать и на то, что эти процессы осуществлялись как экологически, так и чисто исторически в неодинаковых условиях и что они проявляли вследствие этого обусловленность множеством факторов, среди которых и эволюционные факторы, и погруженность людей в разные типы и разные структуры их практической деятельности были далеко не тождественны. А раз так, то нетождественными и вариативными оказывались не только сами формируемые в указанных процессах категории, но и их **внутренняя организация**, их строение, их иерархия, и даже их типы.

К сожалению, приходится констатировать, что в материалах, присланных к нашему Круглому столу, эти темы почти полностью отсутствуют, и мне придется, вернувшись к истокам когнитивизма, заново рассмотреть его исходные установки. Отсутствие историографических данных о действительном положении дел в КН — при том как за рубежом, так и особенно у нас в стране, а также отсутствие адекватных учебников по КН и КЛ делает мою задачу достаточно сложной (уже в силу ограничений на объем выступления), но отнюдь не лишает ее актуальности.

Так, например, важно вспомнить и то, что становление КН было связано с осознанием того факта, что перед научным сообществом второй половины прошлого века встал целый ряд сложнейших проблем, касающихся человека и планирования его поведения, решение которых было явно не под силу отдельным наукам и возникающим в их недрах прикладным задачам. Все это и побуждало необходимость **междисциплинарных исследований**. Вспоминая впоследствии о Симпозиуме по теории информации 1956 г., один из создателей КН, психолог Дж. Миллер, писал уже 1979 г.: «...я покинул симпозиум с глубоким убеждением в том, что экспериментальная психология, теоретическая лингвистика и симуляция когнитивных процессов на компьютере — все это части какого-то бóльшего целого и что будущее увидит его прогресс, дальнейшее его развитие и их координацию. Я работал над его достижением около двадцати лет еще до того, как понял, как назвать его»

([Miller 1979], цит. по: [The Making... 1988]). К указанному им времени и были сформулированы главные установки когнитивизма с его ориентацией на познание человеческого разума и интеллекта и на тщательный анализ их составляющих — восприятия, внимания, воображения, памяти и способностей решать встающие перед нами проблемы.

Центральными топиками КН становились когниция и язык, а поскольку изучающей его областью знания являлось в то время трансформационная грамматика, первый этап становления когнитивизма испытал на себе мощное влияние Н. Хомского. И хотя в экспериментах тогдашних психологов гипотеза Хомского о порождении речи и роли в них неких ядерных трансформаций подтверждения не получила, и именно это способствовало разрыву КН с генеративизмом примерно к началу 80-х гг. прошлого столетия, КН унаследовала от учения Хомского и интерес к ментальным репрезентациям языка, и определение когниции как процесса осмысления мира человеком в актах его повседневного столкновения и взаимодействия с ним (в отличие от научного познания действительности) и, наконец, стремление изучить языковую способность в ее связи с получением знаний. Таким образом, волею судеб у истоков КН оказались два таких великих мыслителя, как психолог Дж. Миллер и лингвист Н. Хомский. Небезынтересно отметить поэтому, что революционный переворот в науке той поры именуется либо как *Chomskian turn*, либо как *cognitive turn*. Мы же считаем, что подлинной революцией в лингвистике был сам переход от генеративизма к когнитивизму и обращение этого последнего к новым проблемам анализа структур знания в их соотнесенности с языком, а следовательно, непосредственно к исследованию особенностей категоризации и концептуализации мира. По сути дела, это и ознаменовало возникновение когнитивной лингвистики как отдельной теоретической дисциплины и закрепило ее статус как одной из ведущих отраслей знания в науках когнитивного цикла. Ее официальное признание в 1986 г. в Дуйсбурге (Германия) уже было фактически подготовлено трудами Т. Телми, Дж. Лакоффа, М. Джонсона, с одной стороны, и работами Ж. Фоконье, М. Тернера, А. Гольдберг и Ив Суитсер — с другой, которые, прокладывая новые пути в понимании языка и задач лингвистики, выступали уже как ярые противники генеративизма.

В упомянутых трудах (а также в работах такого замечательного концептуалиста, как Р. Джекендофф) уже содержались важнейшие положения о разных аспектах концептуализации и категоризации мира и уже были намечены некоторые рубрики в типологии и содержании категорий. И хотя наибольшие достижения когнитивной семантики можно, на наш взгляд, связать с разработкой идей пространственной концептуализации, с анализом метафор и метонимий, с мыслями о механизмах концептуальной интеграции и процессах самого *blending'a* (слияния разных ментальных пространств) и т. п., успехи КЛ на этом втором этапе ее развития уже касаются не только достижений зарубежной науки. В 1995 г. в отечественной науке появляются первые обзоры по структурам знания и в тандеме Москвы и Тамбова начинают проводиться специальные конференции и встречи, посвященные разным аспектам КЛ. Эта же деятельность находит свое отражение в Круглых столах, проводимых в ИЯ РАН, и здесь активно разрабатываются вопросы категоризации и концептуализации окружающей нас действительности и подробно освещаются проблемы, связанные со статусом и организацией грамматических, лексических и словообразовательных категорий. В этом свете становится понятным, почему обращение к перечисленным выше категориям на нашем Круглом столе далеко не случайно. Ведь несмотря на длительную историю изучения указанных процессов, в них остаются не до конца решенными следующие вопросы:

- о возможности выявить черты отличия процесса категоризации от классификации и можно ли считать, что категоризация является особой ее разновидностью;
- каков порядок введения в действие процессов категоризации и концептуализации и что оказывается в этом порядке опережающим фактором (то есть что чему предшествует: создание такого ментального конструкта, как концепт, или, напротив, объединение каких-то сущностей в единое целое, получающее в языке обозначение и признание последнего **именем** концепта);
- какие противопоставления должны включаться в **типологию** категорий.

Думается, что среди противопоставлений, включенных в типологию категорий, должны быть включены следующие:

- основанные на объединяющих их кластеры признаках (это позволяет выделить, с одной стороны, классические категории, характеризующиеся полным повторением набора признаков *vs.* категории, с другой — в которых такие кластеры варьируются);
- среди категорий, охватывающих единицы с разными наборами признаков, следует различать противопоставленные по числу кластеров, организующих категорию в некое единство (это позволяет противопоставить однофокусные, двухфокусные и многофокусные);
- базирующиеся на различиях в варьировании признаков внутри выделяемых кластеров (это позволяет противопоставить категории, построенные по прототипическим признакам, то есть с равнением на лучший образец самого кластерного объединения, с одной стороны, и выделяя — с другой, категории, организованные по принципам фамильного сходства, где переход от одного кластера к другому сопряжен в изменением главного признака этого кластера).

С когнитивной точки зрения следует учесть также различия признаков в кластере по их содержанию: в то время как одни категории включают единицы с одними перцептивными характеристиками, другие содержат лишь неперцептивные, абстрактные признаки. И, наконец, третьи охватывают смешанные свойства (ср. противопоставления, обнаруживаемые у предметных имен в отличие от абстрактных).

Наконец, с семиотической точки зрения можно, на наш взгляд, учесть оппозиции категорий по свойствам их референции, т. е. по наличию или же отсутствию у единиц референта, обладающего или нет референта (денотата) с остенсивно определяемыми качествами.

Можно, конечно, и даже нужно принимать во внимание и собственно лингвистические свойства категории, которые мы усматриваем в специфике соотношения формы в соответствующей категории с фиксируемым ею содержанием, а также противопоставить категории с разными (альтернативными) формами их выражения или же учесть и другие средства оппозиции форм. В докладе будут, конечно, приведены примеры на все эти противопоставления и предусмотрены возможности строить типологию категорий и на этих основаниях. Но уже, по всей видимости, и сказанного выше

достаточно, чтобы подчеркнуть его итог: вряд ли возможно построить типологию категорий на каком-то едином принципе или даже предвидеть сведение реального многообразия категорий к их конечному списку.

Языки мира являют собой примеры членения мира не только на разных основаниях, но и зависимость этих оснований от особенностей самих языков, разных от условий их возникновения и формирования в нетождественных исторических, географических или же экологических условиях, уже не говоря об условиях социологических и культурологических. Каждый отдельный естественный язык к тому же репрезентируется своей неповторимой, воистину уникальной **системой знаков**, и именно это его свойство позволяет выйти в описание мира за пределы непосредственно наблюдаемых объектов, процессов и явлений, а следовательно, с помощью чисто семиотических операций («знак за знак») не только конструировать вымышленные, воображаемые и нередко фантазийные сущности, но и строить, таким образом, иные возможные миры. Язык позволяет тем самым расширить и развить границы сознания человека, предписанных ему биологически первоначально, по природе и познавать не только окружающую его реальность, но и всю **вселенную**.

ЛИТЕРАТУРА

The Making of Cognitive Science / Hirst W. (ed.). Cambridge Univ. Press, 1988.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Публикуя настоящие материалы Круглого стола, мы хотим указать на их отличительные черты. Издавая их в том виде, в каком они были представлены на заседании Круглого стола, который состоялся 3 ноября 2006 г. в Институте языкознания РАН и был организован ИЯ РАН, ТГУ имени Г. Р. Державина, мы хотим подчеркнуть, что они печатаются независимо от того, как они нами оцениваются. Иначе говоря, соглашаясь с высказанными в них мнениями или решительно не соглашаясь с ними, видя в них удачность или неудачность аргументации в защиту той или иной точки зрения и даже отдавая себе отчет в незнании авторами необходимых, казалось бы, в данной ситуации источников, мы полностью избегаем оценок публикуемых работ и в этом смысле отличны от тех составителей подобных сборников (как, впрочем, и журналов), которые оставляют за собой право 1) принять или не принять соответствующую публикацию к изданию; 2) «править» те или иные недочеты публикуемых статей. Таким образом, в наши задачи входит представить материалы Круглого стола на суд читателей без изменений.

Отсюда — некоторые разночтения в понимании обсуждаемого, а возможно, и некоторые мнения, которые, казалось бы, противоречат друг другу. Единственное, что мы себе позволили — это расположить присланные нам материалы в более или менее тематически подобранном виде. Выбирая тему для нашего Круглого стола, мы первоначально решили остановиться на характеристике основных направлений в проведении концептуального анализа и некоторых более конкретных методов его осуществления, а также на определениях концепта, в соотнесении с которыми и формировались далее эти направления и методики. Мы исходили из того, что современное положение дел в этой сфере лингвистики отличается исключительным разнообразием мнений по поднимаемым здесь проблемам и что мы сегодня сталкиваемся с множеством исследований, именующих

себя концептуальными. Особенно широким расхождением взглядов характеризуется вопрос об определениях, даваемых термину «концепт» и самому концептуальному анализу. Все это превращает указанные термины не в просто лишенные общепринятых толкований, но и явно мешает прогрессу когнитивной науки, свидетельствуя не о ее продвижении вперед, а, зачастую, лишь о следовании некоторой моде. Мириться с описанной ситуацией в дальнейшем казалось нам нецелесообразным, и наш Круглый стол был задуман как намечающий хотя бы некоторые выходы из нее.

И, действительно, какие только обозначения внутреннего и внешнего мира человека не рассматриваются в качестве концептов! Какие только группы концептов не объединяются в концептуальные поля или аналогичные им образования! Появилась даже «Антология концептов» в 2-х томах [Антология концептов 2003], где почти каждый автор ссылается в дефиниции концептов на самого себя, как если бы каждый из них придерживался своей собственной интерпретации и уж совсем не следовал никакой традиции. В результате мы сталкиваемся с огромным числом публикаций, в которых не определены ни конкретные цели концептуального анализа (далее — КА), ни методика его осуществления. Остается вообще непонятным, для чего проводится вся эта огромная работа, и что именно достигается при перечислении разнообразных языковых примеров того, как репрезентируется тот или иной концепт. При этом зачастую не проводится различия между частотными и окказиональными (авторскими) объяснениями изучаемого концепта, и возникает вопрос, не являются ли многие из таких примеров достаточно случайными иллюстрациями его описания. Но если задачи таких описаний не сформулированы, подобные работы начинают напоминать так называемую «списочную семантику» и являть собой образцы эмпирических данных для неких будущих разысканий, причем не ясно, каких именно.

Остается при этом не эксплицированным и то, чем отличается КА от традиционного семантического или компонентного, или, наконец, когнитивного.

Между тем несколько разных направлений КА можно было бы выделить и сейчас. На первое место среди них я поставила бы **логику-философскую концепцию Р. И. Павилёниса** [Павилёнис 1983], согласно которой концепты — это **смыслы**, притом смыслы,

еще не нашедшие своей «языковой привязки», невербализованные и только ищущие своего наречения в языке и только в нем найдущие — в будущем акте семиозиса и знакообразования — языковую форму своего представления. Такие смыслы достаточно диффузны, неопределенны, и недаром В. З. Демьянков говорит о них как об «эмбрионах» значения и связывает концепт с этим его значением — «зачатие».

По Р. И. Павилёнису, смыслы порождаются человеком по ходу интерпретации мира, возникая на основе того, «что индивид думает, воображает, представляет, знает об объектах мира» [Павилёнис 1983: 280]. Думаю, что со знакомства с исследованием Р. И. Павилёниса и началось распространение термина «концепт» в отечественной лингвистике в указанном им значении, т. е. как отдельной единицы концептуальной системы человеческого сознания. Эта точка зрения была представлена и в нашем издании о человеческом факторе в языке, где, особенно в томе, посвященном языковой картине мира, данные о языковой картине мира рассматриваются на фоне концептуальной системы человека [Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира 1988]. Уже в предисловии к этому тому Б. А. Серебренников пишет: «Языковая картина мира выполняет две основные функции: 1) означивание основных элементов концептуальной картины мира и 2) экспликация средствами языка концептуальной картины мира» [Серебренников 1988: 6]. Завершая свой раздел «Как происходит отражение картины мира в языке?», Б. А. Серебренников указывает на то, что «следует различать две картины мира: концептуальную и языковую. Концептуальная картина мира богаче языковой картины мира...» [Там же: 107]. Несмотря на различие этих двух картин, обе они между собой связаны. Здесь же он указывает, что «сознание — это знание, функционирующее в процессе освоения действительности человеком» [Там же: 106], и можно предположить, что содержанием сознания и является концептуальная система человека, осознаваемая им и в своей важнейшей части вербализованная в виде системы знаков.

На страницах этого же издания и дано первое разъяснение термина «концепт». «Использование в настоящей работе термина “концепт” вместо более привычного “понятие” далеко не случайно и отражает попытку разграничить их. Мы полагаем, что указанные термины характеризуют разные аспекты человеческого сознания

и мышления. [...] **концепт** мы трактуем расширительно, подводя под это обозначение разнособстратные единицы оперативного сознания, какими являются представления, образы, понятия. В своей совокупности все такие концепты объединяются в единую систему, называемую нами “**концептуальной системой**” или же “**концептуальной моделью мира**”» [Кубрякова 1988: 143].

Таким образом, распространение термина «концепт» началось примерно за десятилетие до того, как в отечественной лингвистике стало ощутимым влияние когнитивизма. Тем самым понятие концепта и особенно концептуальной системы языка включалось в новый научный аппарат лингвистики и становилось неотъемлемой частью целого ряда новых направлений в отечественной науке. С этими понятиями оказались связанными и многочисленные работы о языковой картине мира и ее моделировании в разных языках мира [Телия 1988: 176—177].

Нельзя также не отметить, что существенный вклад в распространение КА языка внесли и приходящиеся на то же время публикации А. Вежбицкой. Ср., в частности, ее монографию «Лексикография и концептуальный анализ языка». Под их несомненным влиянием оказались и некоторые школы отечественной лингвистики. Связь лексикографических идей с КА особенно ярко проявилась в ряде изданий, выполненных под общим руководством Л. Г. Бабенко (Екатеринбург), что можно было бы считать особым применением КА в лексикографии и, соответственно, **лексикографическим направлением** в проведении КА.

Концептуальное моделирование языковой картины мира объединяет и представителей школы «Логического анализа языка». Описывая историю становления этого самостоятельного направления КА языка, вдохновитель и руководитель этой школы Н. Д. Арутюнова пишет, что если во время возникновения самой группы в ИЯ РАН в 1980-е годы перед нею стояли проблемы разработки логико-прагматического аспекта языка, то лингвистическая мысль в последние десятилетия XX века «развивалась в сторону концептуального анализа» [Арутюнова 2003: 10]. Как отмечает Н. Д. Арутюнова, в 1990-е годы группой «Логический анализ языка» была впервые проведена большая конференция, посвященная культурным концептам, «во многом определившая последующие исследования лингвистов в этом направлении» [Там же: 11]. Начиная с этого

времени, здесь были четко определены задачи КА, разработана особая методика, дающая возможность «осуществить реконструкцию концепта, определить его национальную специфику и место в обыденном сознании человека» [Арутюнова 2003: 11]. Культурные концепты, по мнению Н. Д. Арутюновой, важны еще и потому, что «они выполняют функцию своего рода посредников между человеком и той действительностью, в которой он живет» [Там же]. Концепт в таком его понимании сближается с чисто когнитивным осмыслением концептов как оперативных единиц в концептуальной системе языка, зарождающихся в результате человеческого опыта по его взаимодействию с миром. В то же время в работах представителей этой школы термины «концепт» и «понятие» не различаются и нередко оказываются синонимичными друг другу. Сама же практика частого использования термина «концепт» вместо привычного логического «понятие» связана, несомненно, и с переводом на русский язык множества философских произведений таких исследователей, как Л. Витгенштейн, Г. Х. фон Вригт, П. Тийяр де Шарден и др.

В замечательных исследованиях этой группы нашли свое яркое отражение отличительные черты всего данного направления: проведение КА в сопоставительном плане, выделение для анализа целых групп концептуальных полей, реконструкция языковой картины мира по материалам разносистемных языков, обращение к значительным массивам данных, объединенных одним концептом (пространство и время, действие, истина и др.) при общей задаче реконструкции моделей мира, а также их исследования в контексте разных культур и в различных философских и религиозных системах. Достижением этой группы является также само выделение тех высоких и значимых концептов, вокруг которых строятся отдельные издания этой группы.

Иной, по сравнению с логическим анализом языка и развиваемым здесь КА, предстает концепция Ю. С. Степанова. Данное направление можно было бы обозначить как **культурологически-семиологическое**. В отличие от школы логического анализа языка здесь исследуются не разнородные языковые средства, реализующие один и тот же концепт, но именно отдельные концепты. Здесь также отсутствует сопоставительный план анализа концептов, зато ярко выражен семиотический подход к исследуемому материалу. Ключом к пониманию всего этого направления могут служить слова

Ю. С. Степанова о том, что «...русская культура реально существует в той мере, в какой существуют значения русских (и древнерусских) слов, означающих культурные концепты» [Степанов 1997: 9]. В свете этого положения понятно и ставшее уже знаменитым определение концепта у Ю. С. Степанова как «сгустка культурной среды в сознании человека» [Там же: 40].

Интересно, что в интерпретации Ю. С. Степанова концепт обладает сложной структурой. Не случайными представляются ему и имена концептов (отсюда и обращение автора к его исходной или этимологической форме, истории концептов, цепочке вызываемых ими ассоциаций и т. п.). Можно в то же время отметить, что некоторые концепты получили подробное освещение как в школе Н. Д. Арутюновой, так и у Ю. С. Степанова (так, в фокусе внимания того и другого оказались концепты *правды* и *истины* и некоторые другие). Нельзя не отметить, что «Словарь русской культуры. Культурные концепты» оказал огромное влияние на развитие этой версии КА. Излишне говорить, что авторитет книги способствовал определению концепта в указанном Ю. С. Степановым смысле, в принципе не так уж и отличном от того, в каком он употребляется в когнитивной науке и когнитивной лингвистике.

Здесь, подчеркивая наличие отдельно существующего — **КОГНИТИВНОГО** — направления в исследовании концептов, следует указать на то, что, как это хорошо известно, в установки когнитивной науки и когнитивной лингвистики вошло прежде всего изучение процессов концептуализации и категоризации мира, которые сами строились на новом понимании и концептов, и категорий. Широко к настоящему времени исследованные и освещенные, процессы концептуализации и категоризации мира стали здесь изучаться на достаточно разнообразном материале. Нельзя не отметить, что прежде всего в фокусе внимания когнитологов оказалась пространственная концептуализация, по образцу которой рассматривались и другие ее виды. Это течение когнитивной лингвистики было широко поддержано и в отечественном языкознании, где указанная тематика послужила предметом для широкого обсуждения ее на разного рода встречах и конференциях.

Я думаю, можно утверждать, что и на фоне такой отечественной версии когнитивной лингвистики, какой является когнитивно-дискурсивная парадигма знания, в виде ее своеобразного ответ-

вления развивается **особая школа КА**. На наш взгляд, внутри этого направления, получившего распространение с середины 1990-х годов, КА отличается как по своим целям, так и по методике его проведения как от собственно когнитивного (семантического) анализа Р. Джекендоффа или Р. Лэнекера, так и от разных форм традиционного семантического анализа. Все эти типы анализа проводятся на разном уровне обобщения (абстракции). И если когнитивный анализ направлен прежде всего на определение тех конкретных структур знания, которые стоят за той или иной языковой формой, то КА направлен буквально на установление концептуальной структуры, которая стоит за рассматриваемой языковой формой. Образцы такого анализа (см., например, наши работы «Концептуальный анализ слова “память”», «Глаголы действия через их когнитивные характеристики») показывают значимость КА для адекватного описания и объяснения целого ряда языковых форм в языке (так, части речи можно выделить только на основании установления концептов с высоким статусом типа «объект», «признак», «процесс»; это же касается противопоставления абстрактных имен конкретным и т. п.).

Исключительно важно проведение КА для определения **норм сочетаемости единиц** и для выведения правил композиционной семантики. Соответственно нашему пониманию концептуального анализа, КА следует за традиционным семантическим анализом языковой формы (в терминах лексикографических дефиниций), переходя к когнитивному анализу (раскрытие более конкретных значений экстенсионалов анализируемых форм) и, наконец, завершая эту цепочку КА, осуществляемым в терминах концептов более высокого порядка. В нашем направлении подчеркивается различие между вербализованными и невербализованными концептами в концептуальной системе человеческого сознания и невозможность структуризации концепта человеческого сознания до его вербализации в языке. Исходным для нас является положение о том, что концепты в концептуальной системе человеческого сознания — как невербализованные, так и вербализованные, — изучаются в виде гештальтных оперативных единиц нашего сознания и ни в какой структуризации во время их использования в разного рода ментальных процессах не нуждаются. Структуризация вербализованного концепта — это чисто лингвистическая процедура, реконструирую-

щая путь выбора и/или создания имени нового концепта и определяющая его отнесенность к тому или иному домену знания, включение в него неких оценочных и когнитивных характеристик и т. п. Порождаются же и заново вербализуются складывающиеся в сознании **концептуальные структуры**.

Мне кажется, что направление КА, представленное в рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы знания, уже может гордиться результатами своей деятельности и в области исследования языковых категорий в грамматике, и в области анализа пространственной категоризации мира, и в сферах словообразования и терминоведения и, наконец, при анализе отдельных концептов (ср. в этой связи, в частности, и материалы настоящего Круглого стола). Можно было бы даже констатировать, что в Тамбовской школе когнитологов (возглавляемых Н. Н. Болдыревым) рождается и новая веточка рассматриваемого направления, сосредотачивающая свое внимание на особенностях реализации концептов разными средствами языка (морфологическими, синтаксическими, диалектными и т. п.) и, главное, возможностями **перекатегоризации** в описании событий и объектов мира в условиях дискурса. Возможно, можно было бы выделить и другие (менее значительные) направления в КА или же признать некоторые направления соединяющими в себе представления разных школ, но в нашем кратком Введении нам казались достаточными и охарактеризованные выше. Но ведь и их хватает, чтобы отразить существующее разнообразие суждений и взглядов.

Подводя итоги, можно было бы с изрядной долей скепсиса сказать, что все возвращается на круги своя: ведь по-прежнему мы можем утверждать наличие двух версий собственно семантического анализа — ономасиологической и семасиологической. Ведь за частью направлений концептуального анализа явно скрывается то, что именовалось ранее **ономасиологическим исследованием** и задачи которого так ясно были сформулированы Марузо: «дано понятие “покупать”: как оно может быть выражено в языке» [Марузо 1960]. Напротив, за другой частью направлений концептуального анализа стоят иные и прямо противоположные задачи и проблемы: данными считаются те или иные языковые формы, а задачей исследования становится вопрос о том, какие значения можно приписать изучаемой форме. Конечно, фактически при этом все более изоощренными оказываются методы, применяемые и в том,

и в другом случае. И если при «ономасиологическом» подходе акцент делается на выявлении **разноуровневых средств** реализации исходного концепта / концептов, а в фокусе анализа оказывается **вся гамма** средств, то при подходе «семасиологическом» весь семантический анализ явно принимает достаточно сложную форму. Она зависит от того, в каких терминах мы считаем целесообразным (и по каким причинам) фиксировать его **результаты**. В принципе, соответственно целям анализа, можно говорить о следующей иерархии подходов: на самом «низком» уровне в ней находится **компонентный** анализ, заключающийся в обнаружении **минимальных** единиц, из которых складывается изучаемая форма (его результаты фиксируются в терминах дифференциальных сем). Ступенью выше располагается **дефиниционный** анализ, осуществляемый по традиции на основе лексикографических изданий; обычно он направлен на обнаружение неких сходных единиц в дефинициях изучаемых языковых форм (они, как правило, описываются в терминах слов-идентификаторов). С возникновением когнитивной семантики естественным продолжением проводимого анализа становится поиск **структур знания**, стоящих за изучаемой языковой формой; особый акцент становится при этом на определение круга расширяющихся экстенсионалов формы и тех обыденных знаний, которые входят в семантику формы и/или которые по ассоциации связаны с телом соответствующего знака и могут быть установлены благодаря механизмам **инференции**. Чтобы выявить такие вполне конкретные структуры знания, надо базироваться на более обширном языковом материале, а нередко и выйти за пределы существующих лексикографических изданий. Наконец, самую высокую ступень образует здесь **концептуальный** анализ, осуществляемый путем обобщения результатов анализа когнитивного и потому представляющий собой некоторую операцию «извлечения общего знаменателя» из всех предыдущих наблюдений. Он фиксирует итоги подобной операции в терминах концептов более высокого порядка, чем содержатся в словарных дефинициях единицы или в описании стоящей за ней структуры знания. Иначе говоря, концептуальный анализ завершает задачи описания семантики языковой формы на самых абстрактных уровнях ее бытия. Он, как мы уже подчеркнули выше, важен прежде всего потому, что позволяет определить **сочетаемость** формы с другими формами языка, которые, чтобы отвечать требованиям

их **правильнооформленности** в данном языке, должны отвечать нормам их согласования с концептуальной структурой единицы, вступающей с ней в тот или иной тип связи (т. е. нормам так называемой **композиционной семантики**). Согласованными должны быть, например, функция и ее аргументы в составе высказывания, предикат с его именными группами, разные элементы производных и сложных слов и т. д., и т. п.

Подводя итоги, хочется еще раз сказать о том, что материалы Круглого стола подтвердили необходимость ввести термины «концепт» и «концептуальный анализ» в более жесткие рамки и более строго подходить в любом научном исследовании к формулировкам их исходных допущений и/или их теоретических предпосылок. В то же время перспективность самих исследований, связанных с выделенными нами направлениями в методах осуществления КА и с разными целями и задачами подобных исследований, у нас не вызывает никакого сомнения, как, впрочем, не вызывает сомнения желательность продолжения дискуссий по поставленным проблемам и более глубокая разработка всей тематики, обсуждавшейся на нашем Круглом столе. Думается, что наступило время для обсуждения проблем категоризации и концептуализации действительности с привлечением более широкого круга ученых и на еще более представительных встречах нашей лингвистической и — тем более — лингвокультурологической общественности.

ЛИТЕРАТУРА

- Антология концептов — *Антология концептов*. Т. 1—2. Волгоград: Прадигма, 2005.
- Арутюнова 2003 — *Арутюнова Н. Д.* О работе группы «Логический анализ языка» Института языкознания // *Логический анализ языка. Избранное*. 1988—1995. М.: Индрик, 2003. С. 7—23.
- Кубрякова 2003 — *Кубрякова Е. С.* Глаголы действия через их когнитивные характеристики // *Логический анализ языка. Избранное*. 1988—1995. М.: Индрик, 2003. С. 439—446.
- Кубрякова 2004а — *Кубрякова Е. С.* Язык и знание: на пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Рос. акад. наук. Ин-т языкознания. М.: Языки слав. культуры, 2004.

- Кубрякова 2004б — *Кубрякова Е. С.* Части речи с когнитивной точки зрения // *Язык и знание: на пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира* / Рос. акад. наук. Ин-т языкознания. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 29—287.
- Кубрякова 2004в — *Кубрякова Е. С.* Об одном фрагменте концептуального анализа слова «память» // *Язык и знание: на пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира* / Рос. акад. наук. Ин-т языкознания. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 371—377.
- Кубрякова 1988 — *Кубрякова Е. С.* Роль словообразования в формировании языковой картины мира // *Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира* / Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова и др. М.: Наука, 1988. С. 141—172.
- Марузо 1960 — *Марузо Ж.* Словарь лингвистических терминов / Под ред. А. А. Реформатского. М.: Изд-во иностранной литературы, 1960.
- Павилёнис 1983 — *Павилёнис Р. И.* Проблема смысла. Современный логико-философский анализ языка. М., 1983.
- Роль человеческого фактора в языке. *Язык и картина мира* / Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова и др. М.: Наука, 1988.
- Серебренников 1988а — *Серебренников Б. А.* Предисловие // *Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира* / Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова и др. М.: Наука, 1988. С. 3—7.
- Серебренников 1988б — *Серебренников Б. А.* Язык отражает действительность или выражает ее знаковым способом? // *Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира* / Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова и др. М.: Наука, 1988. С. 70—86.
- Серебренников 1988в — *Серебренников Б. А.* Как происходит отражение картины мира в языке? // *Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира* / Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова и др. М.: Наука, 1988. С. 87—107.
- Степанов 1997 — *Степанов Ю. С.* Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997.
- Телия 1988 — *Телия В. Н.* Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира // *Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира* / Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова и др. М.: Наука, 1988. С. 173—204.

О КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССАХ, ПРОИСХОДЯЩИХ В ХОДЕ ОПИСАНИЯ ЯЗЫКА

Продолжая когнитивные исследования, мы, следуя их установкам, ставим перед собой задачу осветить более подробно процессы так называемой **метакогниции**, предложив им свое определение и описание. Под метакогницией мы понимаем ту область лингвистического знания, которая достигается в процессе познания самого языка и которую иногда называют «когницией о когниции», имея в виду, что когниция (познание) здесь ориентирована на ее же собственный анализ. Поскольку в когнитивной науке сам термин «когниция» трактуется сравнительно с термином «познание» не в качестве его двойника (как это подсказывается переводом), представляется целесообразным указать здесь на некоторые расхождения в их интерпретации. Будучи явно взаимозаменяемыми в целом ряде ситуаций их употребления, они так же, безусловно, нетождественны в других, где когниция понимается расширительно, относясь не только к **научному познанию**, но и познанию житейскому, обыденному. При этом считают, что если научное познание объекта ориентируется на получение **истинностного знания** об этом объекте, то обыденное знание отвечает скорее простым и не специальным представлениям о том же объекте. Подобное противопоставление очень важно и для языка. Если для обывателя (не-специалиста) язык кажется объектом, лишенным особой сложности и чем-то, чьи свойства и характеристики предстают как нечто само собою разумеющееся, то для научного его познания язык выступает, напротив, как объект исключительной сложности. Это относится и к определению тех когнитивных процессов, которые упоминаются в заглавии моего доклада и которые подводятся здесь под рубрику процессов, «происходящих в ходе описания языка». Фактически же мы рассматриваем в докладе те направления, которые принимают самые разные размышления о языке и в которых язык характеризуется как объект особой науки — объект теоретической **лингвистики** и, главное, как объект **метакогниции**.

По образцу и подобию этого термина в теоретической лингвистике оказываются далее представленными и термин **метаязык** и связанные с ним **метаязыковые описания** (относящиеся к описанию языка как объекта лингвистики) или даже **металингвистические** описания отдельных явлений языка; наконец, и **метаязыковые высказывания**. Что же заставляет нас «удваивать» подобным образом термины, относящиеся непосредственно к описанию и когниции языка?

Думается, что с ответа на этот вопрос и начинаются по сути дела размышления о том, в чем именно находят свое выражение особенности познавательных процессов, касающиеся языка, и обнаруживаемых в нем самом различных лингвистических объектов, а также на чем основано противопоставление экстралингвистических объектов, и объектов собственно лингвистических? Ведь, казалось бы, любые процессы познания характеризуются целым рядом общих свойств, не зависящих от того, на познание чего они направлены. Так, в определение познания как такового включается представление о постепенном **накоплении знаний**, о роли в нем чувственных или перцептуальных начал, наконец, о выделенности объекта в актах его восприятия и т. д. Можно было бы также констатировать, что вообще **все** познавательные процессы — причем как по мере их зарождения, так и по мере их протекания и получения результатов — носят **языковой** характер. Ведь уже давно многие когнитологи указывали на то, что именно язык, объективируя работу сознания и имеющих в нем место мыслительных (ментальных, интериоризированных) актов, оказывается средством **доступа** к ним. Это обеспечивается материальностью знаков языка. Подобная доступность знаний любому сообществу людей, говорящих на одном и том же языке, является, таким образом, фактором, обуславливающим значимость естественного языка в жизни общества. Закрепленная и закрепляемая естественным языком информация, в том числе и объективированная в виде обозначений и описаний в любой из наук, помещает в состав этих наук и лингвистику. Казалось бы, лингвистика в использовании естественного языка повторяет черты всех прочих наук. Можно даже с полным на то основанием утверждать, что, подобно указанным наукам, она постепенно формирует и свою собственную терминологическую систему.

Однако именно в процессе терминологизации и начинает сказываться принципиальное отличие языка от других объектов познания, ибо с момента формирования терминосистемы отчетливо проявляются две **разных ипостаси языка**: его способность, с одной стороны, выступать в роли **особого объекта научного познания**, а с другой — в роли **инструмента, орудия его же описания**.

В других терминах это и означает, что естественный язык в какой-то своей части получает способность выступать в роли **мета-языка** его же описания и превращает сами когнитивные процессы (его познания в первой из названных ипостасей языка) в **метакогнитивные**. Такое раздвоение функций языка и делает необходимым его признание **уникальным объектом** в онтологии мира. **Первой чертой** отличия лингвистики от всех других наук является, таким образом, не столько факт существования в ней развитой терминологической системы, сколько условность проведения границ между этой системой и метаязыком описания наблюдающихся в ней явлений. Метаязыковые высказывания следует считать, на наш взгляд, средством описания **обыденного**, не научного знания о языке.

По-видимому, самым знаменитым метавысказыванием является строка из Библии, гласящая «В начале было слово. И слово было у Бога», что отражает мысль о божественном происхождении языка.

Повторим еще раз, что не само по себе формирование в лингвистике разветвленной системы специфических структур знания (реализующихся и здесь в виде терминов), сколько способов представления в ней научного, теоретического знания плюс неспециального (обыденного) знания выделяют эти способы с помощью понятия **метаязыка**.

Конечно, в теоретическом плане выделение понятия метакогнции было важным шагом в понимании сущности языка и в осознании его уникальности и, главное, его **двойственности**: объективности существования языка и в виде **особого объекта** в онтологии мира, и в качестве универсального средства описания всего сущего. Целесообразным представляется нам в принципе и признание понятия метаязыка. В то же время если анализ метаязыковых высказываний в живой, разговорной речи имеет смысл как способствующий определению источников сведений о языке ненаучного характера — например, в мифологии, сагах, притчах и т. п., то использование его в научных лингвистических исследованиях,

по-нашему мнению, должно быть жестко ограничено. В противном случае оно просто перегрузит научное описание языка. Так, например, при рассмотрении таких речевых актов, как перформативные, возможно, и следует упомянуть об их метаязыковом характере. И все же фактически такое упоминание не внесет в определение самих перформативных высказываний ничего принципиально нового. Пожалуй, единственным исключением из общего правила оказывается тема изменений в метаязыке описаний лингвистических явлений, поскольку здесь подразумевается необходимость изучения тех преобразований (трансформаций), которые касаются **статуса** отдельных единиц языка на шкале, противопоставляющей их терминологическое и нетерминологическое использование. Тесно связанным с проблемой статуса указанных единиц является, на наш взгляд, и вопрос об их представлении в разного рода лексикографических изданиях.

Если **первой** отличительной чертой познавательных процессов, происходящих в лингвистике, является фиксация их результатов на особом варианте естественного языка, именуемом **метаязыком**, то **второй** такой чертой оказывается задействованность в этих процессах **междисциплинарных** данных. Яркий междисциплинарный характер когнитивной науки как объединяющей для решения стоящих в ней задач самые яркие науки и с самого начала своего становления провозгласившей невозможность адекватного описания самой человеческой когниции без обращения к этим разным наукам, сказался, прежде всего, в теоретических работах по лингвистике. Именно язык как ингерентное свойство мыслительных процессов привлек к себе внимание представителей разных специальностей. Ни по масштабам используемых в современных исследованиях языка сведений из других наук, ни по диапазону привлекаемых к этим исследованиям разных дисциплин, имеющих здесь место, связи не имеют себе равных. Конечно, и в других фундаментальных науках к познавательным процессам иногда привлекаются данные из смежных дисциплин, но обычно это характеризует так называемые **сдвоенные науки** (ср., например, область физической химии или использование методов математического моделирования в самых разных науках). Однако и сдвоенных наук в лингвистике насчитывается неизмеримо больше (ср. социо-, нейро-, био- и пр. лингвистики, столь релевантные для ее современного облика).

Если учесть то обстоятельство, что результаты познавательных процессов должны включать, соответственно представлениям современной науки, не просто достижение истинности знания, или, по крайней мере, приближение к нему, но и **объяснение**, эффект междисциплинарности лингвистики в ее когнитивной версии заключается в расширении базы ее экспланаторных возможностей. Таким образом, следует констатировать, что прямым следствием сближения лингвистики с другими науками является выход принимаемых объяснений за собственные границы. Отсюда если и не полный отказ от поисков пресловутых имманентных (внутренних) закономерностей в описании языковых явлений, то во всяком случае признание их гораздо меньшей значимости. В принципе, чем более тесные связи с той или иной дисциплиной устанавливаются у лингвистики, тем больше понятий заимствуется из них и начинают использоваться в разъяснении тех или иных языковых явлений. Особенно важным в этом отношении оказываются те науки и те отрасли знаний, которые стояли у истоков когнитивной науки (психология, гносеология, эпистемология, теория информации, моделирование искусственного интеллекта и т. п. (см. подробнее [Кубрякова и др. 1996])). Но теперь к ним можно прибавить и сциентологию и компьютерологию и — особенно — нейронауки и биологию. Примеры таких объяснений содержатся в работах ведущих когнитологов мира, причем число их постоянно возрастает, а сами они обуславливают явный прогресс когнитивной науки и ее привлекательность для все возрастающего числа ученых. На сегодняшний день можно говорить уже о **третьем поколении** когнитологов. Это, безусловно, свидетельствует о том, что когнитивная наука и в будущем не утратит своей популярности, и будет продолжать радовать нас своими достижениями и своими успехами.

Общеизвестно, что своих наибольших успехов когнитивная лингвистика достигла в области исследования процессов категоризации и концептуализации, т. е. познавательных процессов, направленных на переработку информации, поступающей к людям по разным каналам. И по сути дела познавательные процессы в любой науке тоже проходят эти стадии формирования категорий и кладут в их основания такие мыслительные (ментальные) единицы, как концепты. Очевидно также, что любая наука, в том числе и лингвистика, выстраивает затем на базе подобных выделенных кате-

горий и более крупные их **совокупности** — **новые системы знаний**. Наконец, в дальнейшем развитии указанных наук подобные системы знаний переходят, аккумулируя в себе опыт итогов предыдущих познавательных процессов, в область так называемых **предпосылочных знаний**. Они, в свою очередь, образуют важнейшую составляющую будущих парадигм знания и других объединений накопленного знания. Но, учитывая, что в таких парадигмах знания тут же порождаются **новые задачи**, можно фиксировать с этой точки зрения как поступательное движение в любой из наук, так, конечно, и известную преемственность в подобном движении. Одновременно это движение отражает естественно и новые потребности, возникающие в обществе, и новые практические его нужды.

В каждой отдельной фундаментальной науке в итоге складывается своя **картина мира**. Неслучайно поэтому выдвижение такого понятия, как, например, физическая картина и (или модель) мира, да и сведение данных о таких картинах в единую **научную** картину мира. И все же в **обобщении** результатов познания мира лингвистика тоже занимает совершенно особое место, так как **языковая** картина мира складывает воедино не только знания о своих собственных объектах, а предлагает народу как носителю того или иного естественного языка некую **сводную** картину мира: каждый язык отражает поэтому по сути дела не только опыт своего народа и не только сумму знаний о его культуре, истории, нравственных и моральных ценностях и т. п. Он сохраняет в своей знаковой системе также ту совокупность знаний о мире, которые носят **человеческий характер** и которые (частично — и в виде заимствований) входят в число самых релевантных представлений, почерпнутых в ходе познавательных процессов самими разными народами. В этом смысле мы и берем на себя смелость утверждать, что само отражение мира, присутствующее в каждом развитом обществе в виде языковой картины мира, составляет **третью** отличительную черту тех познавательных процессов, которые в этой картине мира закрепились и, таким образом, зафиксированы.

Еще одним следствием из сделанных нами наблюдений можно, по всей видимости, считать неправомерным сужение задач когнитивной лингвистики исследованием исключительно проблем категоризации и концептуализации мира. Происходящие здесь познавательные процессы гораздо разнообразнее и гораздо более

вариативны как по своим реальным целям, так и по своим реальным результатам; как по своей масштабности, так и по своим конкретным диапазонам. Ведь, в конечном счете, их классификация может быть достигнута в зависимости от того, на получение каких данных они направлены. Это и возвращает нас снова к противопоставлению знаний о мире знаниям о языке при всей кажущейся нелогичности такого противопоставления, а в известной мере и некоторой его условности (см. подробнее [Кубрякова 2004]).

Имея в виду далее исключительно познавательные процессы, касающиеся непосредственно языка, мы в предварительном порядке могли бы предложить их классификацию по трем-четырем следующим типам, выделяя среди них:

- те широкомасштабные процессы, которые связаны с определением сущности происхождения и природы языка, его функций и, наконец, самых общих его свойств (типа понимания языка как системы знаков или как определенного порождающего устройства и т. п.);
- те познавательные процессы, которые направлены на узнавание особенностей и деталей внутреннего устройства и организации языка как системы систем (типа познания стратификации языка по уровням или представленным здесь отношениям и интерфейсам);
- те познавательные процессы, которые связаны с анализом различных языковых явлений, которые образуют некие их наборы категорий — конкретные классы, группировки и т. п. и, наконец,
- те познавательные процессы, которые связаны с идентификацией на карте мира **отдельных языков** (их сейчас насчитывают по самым приблизительным подсчетам не менее **шести тысяч**) и их типологией и т. п.

Поскольку, однако, подобная классификация (собственно, учитывающая только «масштабность») не представляет собой особой научной ценности — она не может быть исчерпывающей, — мы бы хотели отметить в ней только место и роль тех познавательных процессов, которые маркируют появление в ней так называемых новых реальностей языка. Под ними мыслятся те сущности, которые вплоть до определенного времени вообще не привлекали к себе внимания лингвистов, а потому не имели еще их общепри-

нятого наименования, либо те, которые, тоже оставаясь до поры до времени неизвестными и тоже не имеющими специального обозначения, фактически пополняют собой уже существующие ряды единиц.

Дополняя характеристику подобных новых реальностей языка, следует также указать на то, что речь идет о познавательных процессах, расширяющих наши представления о языке за счет появления в них доселе неидентифицированных языковых **индивидуальных** объектов, т. е. чего-то, коррелятивного понятию **открытия** в других науках.

Ограничимся в силу понятных причин лишь несколькими иллюстративными примерами. Так, по нашему мнению, в типологию новых реальностей языка могут быть включены довольно редкие образцы **предсказаний**: их иллюстрацией может служить предвидение Ф. де Соссюром ларингального звука (известной параллелью здесь может служить таблица Менделеева, в которой он предвидел появление в ней новых химических элементов). Новые реальности языка могут также появляться в силу интуиции конкретных исследователей — таковы, например, авторские понятия, типа понятия шифтеров у Р. Якобсона или морфонологии Н.С. Трубецкого. Можно также противопоставить случаи появления новых единиц языка *versus* описание целого нового класса единиц (здесь иллюстрацией может служить выделение **речевых актов**) и т. д. и т. п. Наконец, особым случаем признания новых явлений оказываются и **дихотомии**. Наряду с оппозицией *ergon* и *energeia* у В. фон Гумбольдта, целым рядом дихотомий у Ф. де Соссюра, сюда же могут быть причислены противопоставление *competence* и *performance* Н. Хомского, его же противопоставление *I-language* и *E-language*, номинации и предикации и, наконец, когниции и коммуникации у целого ряда современных ученых. К сожалению, не могу остановиться на этом «топике» более подробно в связи с рассуждениями о специфике языка как уникальном объекте и о его исключительной сложности и диалектической противоречивости его свойств.

Остается в заключение отметить, что все, что мы можем сказать о языке сегодня, все то, по поводу чего мы сегодня дискутируем — все это, так или иначе, подводит итоги тем тысячелетия длящимся познавательным процессам, к которым мы оказались причастными и в которые, я надеюсь, каждый из нас внес свою лепту, и считаю

необходимым его рассмотрение в рамках представленной тематики. Считаю также связанным с нею вопрос о специфике тех когнитивных процессов, которые, совершаясь зачастую параллельно лингвистами разных стран, завершаются включением в метаязык ее описания заимствованиями и/или формированием особого пласта интернациональной лексики (ср., например, термины типа *концепт*, *концептуализация*, *дискурс* и пр.).

Хотелось бы подчеркнуть важность еще одной проблемы: проблемы связи познавательных процессов с созданием тех или иных форматов знания. Ведь каждый отдельный образец структурированного знания, именуемый данным термином, характеризуется собственной историей его возникновения и стоящим за ним познавательным процессом. Есть своя история и у фрейма, и у когнитивной матрицы, введенной в метаязык сравнительно недавно в серии прекрасных работ Н. Н. Болдырева. Исследования картин мира тоже нуждаются еще в их продолжении в намеченном нами отношении.

ЛИТЕРАТУРА

- Кубрякова и др. 1996 — Кубрякова Е. С., Демьянков В. З, Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г. Краткий словарь когнитивных терминов. М.: МГУ, 1996.
- Кубрякова 2004 — Кубрякова Е. С. Язык и знание. М., 2004.
- Culioli 1983 — Culioli A. Role des representations metalinguistique en syntaxe // Proceedings of the XIIIth International Congress of Linguists (Tokyo, 1982). Tokyo, 1983. P. 59—73.

В ПОИСКАХ СУЩНОСТИ ЯЗЫКА

Почти полвека отделяют нас от публикации знаменитой статьи одного из наиболее выдающихся лингвистов XX в. Р. Jakobsona «В поисках сущности языка» [Jakobson 1983]. В ней он связывает эту сущность с семиотическими аспектами языка, т. е. его бытием в виде системы знаков. Однако не следует ли нам сегодня признать, что сущность языка все же этим не исчерпывается? Ведь появление каждой новой парадигмы лингвистического знания неизменно вносило в определение языка свои коррективы, а в XX в. наблюдалась смена, по крайней мере, трех таких парадигм: так, традиционное описание языка по его внутреннему устройству — с противопоставлением лексики и грамматики и выделением в последней морфологии и синтаксиса — сменилось не только интерпретацией языка по его составу (как системы знаков), но и по его организации как сложной системы с определенной структурой. Соответственно, характеристика языка в структурализме была обогащена в генеративизме за счет представления языка как порождающего механизма. Наконец, с появлением когнитивной науки (далее — КН) вообще и когнитивной лингвистики (далее — КЛ) в частности, был заново поставлен вопрос о том, чему же, в конечном счете, служит знак и каковы его функции.

Для большинства современных исследователей не вызывает поэтому сомнения тот факт, что язык следует изучать как объект исключительной сложности, как явление многоплановое, обеспечивающее такую уникальную способность человека, как способность говорить и понимать услышанное, а главное, быть вплетенным во все виды человеческой деятельности.

В силу всего этого мы не можем не согласиться с мнением составителей сборника трудов Р. Jakobsona, посвященного столетию со дня его рождения, которые в своих комментариях к его трудам, отмечают, что «...понятия Jakobsona должны сдвинуться с мертвой точки... и вновь отправиться в путешествие» (см. [Jakobson 1996]). К таким понятиям следует отнести, на наш взгляд, и все поня-

тия, относящиеся к определениям сущности языка. Наш доклад и мыслится как особое путешествие, осуществляемое в «поисках сущности языка» и связанное, прежде всего, с итогами развития лингвистики за последнюю полувековую историю ее существования, а значит, главным образом — со становлением и формированием КН и КЛ.

Согласно теоретическим установкам данного направления назначение языка и его роль в человеческом обществе обуславливаются тем, что в первую очередь он служит **когниции**, под которой здесь понимается как научное, так и обыденное познание мира, реализующееся в процессах его концептуализации и категоризации. Оно выливается в языковое оформление разных структур знания, т. е. связано с объективацией последних в соответствующие языковые формы, включая объединения указанных структур в определенные целостные единства, называемые форматами знания. Примером таких единств могут служить как отдельные категории и концептуальные (когнитивные) структуры, так и их наборы — фреймы, сцены, сценарии и т. п. Весь смысл когнитивного подхода и заключается — с точки зрения этого подхода — в постоянном соотнесении разных форматов знания с языковыми формами, их объективирующими. При этом само направление анализа может меняться. Иначе говоря, у разных исследователей в фокусе внимания могут находиться либо вопросы о том, какие структуры знания стоят за определенными языковыми формами (т. е. каковы когнитивные основания этих форм), либо вопросы о том, с помощью каких языковых форм могут быть репрезентированы те или иные форматы знания.

В результате осуществления анализа языка по указанной программе несколькими поколениями когнитологов выявились, однако, не только его сильные, но и его слабые стороны, во всяком случае — его известные ограничения. Так, когнитологи первого поколения призывали к отказу от использования в когнитивных исследованиях факторов прагматического или же социально-коммуникативного порядка. Еще одним существенным ограничением являлось нежелание когнитологов рассматривать языковые явления в их широкой исторической перспективе и т. п. Между тем последующие исследования в данной области выявили явные преимущества синхронно-диахронического изучения фактов языка как позволяющего придать всему анализу очевидный объясни-

тельный характер. Именно это обстоятельство предопределило, на наш взгляд, успех тех, например, работ, которые оказались связанными с рассмотрением проблем так называемой грамматизации, как процесса длительного, и постепенного превращения особого класса лексических единиц в грамматические и — одновременно — как процесса становления самой грамматики. Наконец, именно обращение к истории языка продемонстрировало, что известная часть реальных черт языка, наблюдаемых в синхронии, имеет не только когнитивную подоплеку, а потому и не может быть объяснено адекватно исключительно за счет действия чисто когнитивных факторов.

Уже в 1978 г. мы выдвинули гипотезу о том, что части речи, например, зарождаются в недрах высказывания [Кубрякова 1978], а обратившись спустя двадцать лет к исследованию собственно когнитивных начал в их формировании, обнаружили, что наряду с ними следует учитывать и роль факторов коммуникативных (дискурсивных), а главное, их взаимодействия и даже **согласования** [Кубрякова 1997; 2004]. Эта мысль послужила основанием предложить уже в этой книге установки такой новой парадигмы знания, которая получила название **когнитивно-дискурсивной**. Будучи подхваченной многими исследователями у нас в стране, она, как представляется, может рассматриваться как особая версия отечественной лингвистики, развивающая идеи когнитивизма, см. [Лузина 2006], а также [С любовью к языку 2002; Горизонты современной лингвистики 2009].

Согласно теоретическим принципам, положенным в основание когнитивно-дискурсивной парадигмы, каждое языковое явление должно изучаться в двух его аспектах: как когнитивном, так и коммуникативном (дискурсивном). При рассмотрении указанного явления с когнитивных позиций анализу подлежит установление его роли в познавательных процессах, в фиксации и хранении человеческого опыта по осмыслению людьми окружающей их действительности (а значит, в актах внимания и воображения, решения проблем в мыслительной деятельности человека по мере освоения им мира и т. п.). При изучении же явления с коммуникативных позиций внимание исследователей привлекает его участие в актах общения людей и его роли в осуществлении происходящей при этом дискурсивной деятельности, включая такой ее аспект, как порождение текстов разного типа. Мы полагаем в то же время, что

раздельное описание языковых явлений с указанных позиций носит в значительной мере **условный** характер и преследует определенные научные цели. В реальном же функционировании языка — а именно оно и отражается в понятиях дискурса и дискурсивной деятельности — функции когниции и коммуникации не могут быть жестко противопоставлены друг другу.

При такой интерпретации и сам язык рассматривается либо как средство обеспечения когнитивной деятельности человека (во всем разнообразии и многообразии ее конкретных проявлений), протекающей в постоянных актах коммуникации, либо же как средство осуществления дискурсивной деятельности, обязательно имеющей те или иные когнитивные основания. Ведь по нашему глубокому убеждению, любая дискурсивная деятельность облигаторно связана с **информацией** — ее передачей от одного лица / коллектива другому лицу / коллективу, ее запросом, ее обработкой и переработкой отдельной личностью или коллективом говорящих и т. п. Это объясняет ее конкретные коммуникативные и когнитивные задачи, т. е. одновременно присутствующие в речи два главных ее начала. Так, например, собственно дискурсивными ее характеристиками можно, по-видимому, считать необходимость — в силу линейности речи и ее необратимости со времени — **членить** поток речи на определенные синтагматические отрезки и распределять в нем в соответствии с определенными правилами отражаемую в этих отрезках **информацию**, а значит, опять-таки, так или иначе ее репрезентировать. Дискурсивными являются также характеристики, связанные с участниками процесса коммуникации и их ролями, с условиями осуществления данного процесса, т. е. всем тем, что обычно считается входящим в прагматические аспекты речи, а точнее говоря, служит описанию системы координат в имеющей место дискурсивной деятельности. Но ведь от всех перечисленных параметров зависит напрямую и формируемое ею **содержание**, а значит, и **когнитивный** аспект процесса.

Таким образом, приведенное выше определение языка указывает, прежде всего, на ДВА разных ракурса его рассмотрения — с когнитивной или же дискурсивной точки зрения. Можно полагать, что выделенные ракурсы рассмотрения теоретически соответствуют и возможному при анализе грамматики подходу либо от формы языковых единиц к осуществляемым им функциям, либо, напро-

тив, подходу от той или иной функции к реализующимся языковым формам, т. е. тем противопоставленным друг другу направлениям грамматического анализа, которым мотивируется оппозиция морфологии и синтаксиса. Нельзя также не упомянуть в этой связи о существующем и при исследовании семантики направлении от определенного содержания к выражающим его альтернативным единицам VERSUS направлению от конкретного способа / единицы обозначения — к ее содержанию, что отражает противопоставление в ней самой (в семантике) теоретической ономасиологии и семасиологии (или в других терминах — собственно семантики). Важно в то же время отметить, что последовательное применение разных отправных точек зрения при анализе материала в рамках единой дисциплины приводит фактически к разным результатам и что этот знаменательный факт не только не препятствует осознанию целостности изучаемого объекта, но, наоборот, способствует его более глубокому, а потому и более адекватному пониманию. Так, несмотря на оппозицию морфологии синтаксису, вместе взятые, они очерчивают область бытия грамматики, а противопоставление ономасиологического ракурса рассмотрения семасиологическому внутри семантики не разрушает представления о ее собственных границах.

Но сказанное имеет самое непосредственное отношение и к проблеме **сущности языка**: дихотомия когниции и коммуникации в каком-то смысле рядоположена другим известным, начиная с Ф. де Соссюра, дихотомиям — языка и речи, синхронии и диахронии, статики и динамики и т. п. и добавленным к ним впоследствии противопоставлениям *competence* и *performance*, а также языка интериоризованного (I-Language) языку экстериоризованному (E-Language) и пр. (по Н. Хомскому). Из этого следует, что, как показывают результаты огромного большинства исследований системы языка и ее свойств, эти исследования свидетельствуют о том, что практически каждая дихотомия носит достаточно условный характер. Так, не вызывает сомнения, что язык являет собой одновременно и стабильное, устойчивое образование, и, напротив, постоянно преобразуемое и меняющееся. Нет жестких границ между языком и речью, да и все приписываемые им параметры относительны. Строго говоря, каждое новое явление, возникающее, казалось бы, у нас буквально на глазах (например, новое слово или новое сочетание и т. д.), тут же становится непреложным фактом истории. Ведь фиксируют же авто-

ритетные англоязычные словари дату появления слова с определенным значением, а терминологи вообще любят говорить о возникновении конкретного термина в таком-то году.

Иначе говоря, каждая дихотомия представляет собой противопоставление, существующее лишь в рамках, намеченных ею же самой. Оппозиция когниции и коммуникации не менее и не более условна, чем, скажем, дихотомия номинации и предикации, общения и обобщения, и трактовать ее следует, по всей видимости, в том же ключе. Каждое языковое явление, которое мы описываем и называем когнитивным, обнаруживает свои истоки в речевой деятельности, а каждый акт коммуникации, как мы уже указывали выше, имеет отношение к когнитивному процессу, а потому и может быть описан либо по своим когнитивным предпосылкам, либо по своим когнитивным последствиям. Как и каждый отдельный объект лингвистического анализа, сам язык должен изучаться как объект двойственный, как диалектически сложный и, возможно, даже противоречивый, и именно эта конкретная сложность и делает его уникальным, т. е. неповторимым по своим свойствам и по их сочетанию, а к тому же — и отличным от всех объектов реального мира. В свете всего сказанного, однако, неизбежно возникает вопрос о том, а не стоит ли все же за дихотомией когниции и коммуникации — этими явно **полюсами**, наблюдаемыми в строении языка, — нечто их объединяющее (и подобное тому, что объединяет изображение шара земли на глобусе)? Таким общим представляется нам единая для когниции и для коммуникации **ориентирующая, или мирозозидающая, функция языка**. (Впервые представление об этой функции применительно к словообразованию было дано мной в [Кубрякова 2006].)

Границы самой дихотомии когниции — коммуникации обуславливаются их ролью в обозначении и описании мира, в направленности их на выполнение в равной степени как функции ориентации человека во взаимодействии со средой и с другими людьми, так и функции ориентации в ментальном мире (сознании). Язык обеспечивает, на наш взгляд, и ориентацию человека в предметном мире (в том его виде, в каком он был обозначен в конкретном естественном языке и представлен в составе одной из существующих в нем категорий), и в области сознания, созданной за счет наличия в ней особой концептуальной системы (внутри нее отдельные концепты

выступают в виде ее оперативных единиц). Поскольку номинативная функция языка уже служила предметом описания в теоретической ономазиологии, а она составляет с точки зрения констатации главной функцией языка, ориентирующей только **часть** этой последней, новым для КН и КЛ можно считать определение языка как **средства доступа** к мыслительной, ментальной, интеллектуальной и **интериоризованной** в голове (мозгу) человека деятельности. А это стало описываться в науке сравнительно недавно и способствовало переключению внимания исследователей с проблемы «язык и мышление» на проблему «язык и сознание». Тем самым существенно расширились горизонты современной лингвистики и, конечно же, сам вопрос о сущности языка и прежде всего связанная с ним проблема роли языка в **описаниях** мира и в построении с его помощью разного рода **конструкций**. К этой проблеме — проблеме, получившей в КН и КЛ название «конструирования мира» (the construal of the world) мы еще вернемся ниже. Отметим здесь лишь ее непосредственное отношение к перекраиванию образов или картин мира (особенно под влиянием появления в мире новых технологий, глобальных информационных сетей и т. п.), а также — к возрастанию информационных потоков в сфере межкультурной коммуникации и связи этой последней с глобализацией мира.

Это соображение позволяет объяснить еще раз, почему мы выдвинули в этом докладе положение об ориентирующей функции как высшей функции языка и какими были наши мотивы в выборе ее наименования. Что же касается этого последнего, мы хотели бы отметить, что наличие в термине эпитета «ориентирующий» может быть нагляднее всего подтверждено обращением к **онтогенезу** речи. Многочисленные наблюдения наших лучших ученых по проблемам детской речи (А. М. Шахнаровича, С. Н. Цейтлин, не говоря уже о Л. С. Выготском), неоспоримо свидетельствуют о том, что вхождение ребенка в этот мир обязательно связано с тем, что окружающие его взрослые (естественно, на первых порах их число весьма мало), начиная общение с ребенком, начинают **ориентировать** его в ближайшем окружении. Они не только выбирают из этого окружения простейшие предметные сущности и указывают на них, одновременно их называя, но делают это и по отношению к лицам рядом с ребенком и т. п.

Интересно также, что такая фаза в развитии ребенка, которая свидетельствует об опережении у него когнитивных умений по сравнению с навыками речи, могла бы вполне трактоваться в пользу раздельности формирования у него самих когнитивной и коммуникативной функций (так, ребенок выполняет простейшие просьбы / требования взрослых еще до того, как начинает говорить сам); однако, в этом мы должны усматривать скорее факты влияния речи взрослых на общее когнитивное развитие ребенка, включающее его участие, хотя и одностороннее, в актах коммуникации. В этих первичных актах можно, соответственно, усматривать естественную асимметрию *competence* и *performance* (если использовать терминологию Н. Хомского).

Ориентирующая функция языка, столь очевидная для него на ранних этапах развития ребенка, продолжается, конечно же, и позднее — особенно, когда ребенка начинают **обучать** в школе, знакомя его с миром не только в реальных процессах коммуникации, но и с помощью **описаний** этого мира. Нельзя не признать, что вообще с подавляющим большинством научных сведений об окружающей нас действительности мы тоже знакомимся благодаря существующим и накопленным к тому времени письменным источникам, т. е. текстам, хранящим указанные сведения в специальной литературе.

Несколько слов стоит сказать и о втором названии, предлагаемом нами для обозначения той же функции. Нам представляется, что понятие мирозозидающей функции языка позволяет охарактеризовать более полно реальную роль языка в **генезисе** самого *homo sapiens* (ср. библейское «...в начале было слово»). Кроме того разные названия единой функции, английскими эквивалентами которых могли бы служить *world-creative function* versus *orientational*, могли бы примирить теоретические взгляды таких разных ученых, как У. Матурана, с одной стороны, и Л. фон Витгенштейн — с другой. Первому из них (как и его последователям в рамках биогенетического направления в истории философии) принадлежит мысль о том, что все известные нам предметные сущности (типа облаков, гор, океанов и т. п.) были созданы исключительно их языковым определением и/или описанием, т. е. в дискурсе. Второму же принадлежит постулат о том, что границы человеческого сознания определяются границами его языка.

И все же, дойдя до этого места в изложении проблемы сущности языка, мы бы хотели обратить внимание на принципиальное расхождение в самом истолковании понятия мирозозидающей функции языка у меня, с одной стороны, и у У. Матураны и его последователей — с другой, но также, наконец, и у целого ряда зарубежных когнитологов. Указанное расхождение связано прежде всего с разной трактовкой нами, во-первых, принятого в КН и КЛ понятия «конструирования мира» (the construal of the world) и, во-вторых, понятия **источников** этих конструкций. Перейдем к разъяснению указанных разногласий.

В концепции У. Матураны — этого знаменитого чилийского философа и биолога — делается попытка объяснить когнитивные явления с биологической точки зрения и утвердить мнение о том, что люди конструируют свою собственную реальность и притом конструируют ее с помощью языка. Матурана пишет: «Мы, человеческие существа, существуем постольку, поскольку мы существуем как осознающие себя сущности в языке. Только потому, что мы существуем как осознающие себя сущности, и существует область физического существования как наша ограничивающая когнитивная область в конечном объяснении того, что представляет жизнь человека-наблюдателя как феномен. Физическая область существования вторична по отношению к феномену жизни человека-наблюдателя...» [Maturana 1992: 115]. Но в такой трактовке все перевернуто с ног на голову!

Из того, что мир предстает перед нами в описаниях, данных на естественном языке, никак не следует, что он **существует только в этих описаниях**. И если можно согласиться с тем, что *homo sapiens* — это живое существо, наделенное языком, то согласиться с тем, что «физическая область существования вторична по отношению к феномену жизни человека-наблюдателя», мы никак не можем: и сам человек, и тем более среда, в которой существуют все люди, вряд ли могут рассматриваться как **вторичные** физические объекты. На наш взгляд, они представляют собой *sine qua non* для признания за человеком роли наблюдателя: для того, чтобы наблюдать за чем-то, естественно предположить, что это что-то существует.

Подменяя понятие объективного мира (как мира, существующего вне нас и вне нашего сознания), из которого наблюдатель черпает свои ощущения, понятием «субстрата», У. Матурана указы-

вает позднее, что он его вводит «из эпистемологических соображений», подчеркивая при этом, что «в субстрате нет объектов, сущностей или свойств. В субстрате нет ничего вещного, поскольку вещи принадлежат языку. В субстрате ничто не существует» [Maturana 1992: 108]. Но даже если признать, что до человека или без человека субстрат (как физическая область будущего человека) и представляет собой некую еще нерасчлененную массу материи, и даже согласиться с тем, что «вещи принадлежат языку» — во всяком случае в том смысле, что особые фрагменты этой материи были вычленены из нее наблюдающим за ней человеком и вычленены благодаря языку — из этого отнюдь не вытекает, что обозначенному фрагменту в среде ничего не соответствует! Не случайно представители когнитивной психологии, как бы предвидя указанную точку зрения, как возможную, отмечали, что люди обозначают фактически не вещи (как заранее существующие объекты), а ощущения от них. Однако для того, чтобы испытывать некие ощущения от чего-то, нужно, чтобы человек взаимодействовал с этим «чем-то» в актах его восприятия. Таким образом, следовало бы добавить, что вычлененный фрагмент (вещь, свойства и т. д.) должен не только выделяться как таковой как некая фигура на определенном фоне (например, в силу своей объективно существующей качественной определенности или наличия у него конкретного набора особых перцептуальных свойств, типа физических границ и очертаний), но и выступать для воспринимающего этот фрагмент человека в виде «участника» той или иной ситуации, той или иной структуры действия или деятельности, т. е. осознаваться человеком как фрагмент, наделенный несомненным прагматическим значением и обладающий особой «салиентностью» (*saliency*) и релевантностью.

Все попытки убедить нас в том, что сущности типа гор или океанов находятся лишь в «области дискурса и описания», ср. [Имото 2006: 13], представляются нам неубедительными: для того, чтобы попасть в эту область, им должно соответствовать в субстрате нечто вполне реальное (физическое).

Справедливости ради следует признать в то же время, что мысли У. Матураны не исключают признания за языком мирозозидающей функции, а скорее предполагают ее: однако, необходимо, по нашему мнению, безоговорочно исходить из того, что, как только язык утверждает (а точнее, «оправдывает») наличие в мире как физиче-

ской среде существования человека, океанов, гор и облаков, последние начинают рассматриваться как некие объективные ориентиры этой среды в соответствующих ей когнитивных (т. е. познанных) областях, ср., например, [Трофимова 2006: 21, 25, 27—29]. Но ведь согласно нашему определению ориентирующей функции она и служит для установления достаточно устойчивой коррелятивной связи между тем, что познано, увидено и осмыслено человеком в мире «как он есть», и тем, что им поименовано, обозначено и включено в описание.

Как мы уже отметили выше, воздействие ориентирующей функции на человека начинается с тех самых моментов в развитии ребенка, когда в отношениях между ним и его матерью наблюдается фокусировка его внимания на определенном предмете с одновременным называнием обозначения этого предмета.

Так как язык сопровождает человека на протяжении всей его жизни, он формирует его сознание непрерывно, — через язык или с помощью языка человек знакомится постоянно с самой разнообразной информацией о мире. Сегодня такая информация нередко подкрепляется благодаря развитию высоких технологий и визуально. На экранах телевизоров мы видим события, возможно и отдаленные от нас во времени и пространстве, но обычно сопровождающиеся определенными комментариями: ориентирующая функция языка продолжает свое действие, и она становится едва ли не самой главной составляющей в формировании психики и интеллекта человека, уж не говоря о постоянном участии этой функции в развитии человека как языковой личности. Но верно и обратное: человек как языковая личность и сам проявляет свои креативные начала (см. подробнее [Ирисханова 2008]) — он и сам творит язык, активно его преобразуя. В этой связи мы должны высказать также свое отношение к понятию, неоднократно освещавшемуся мной и ранее — к понятию «конструирования мира». Как известно, оно было введено когнитологами для характеристики любого высказывания как творчески «изображающего» описание осмысляемого человеком события или ситуации on-line. Правильно указывая на возможность использования в этом описании уже имеющихся в языке альтернативных средств, а также создания тех или иных инноваций, когнитологи за рубежом все же, с одной стороны, недооценивали роль в этом **конвенциональных** способов репрезентации

необходимого содержания (ведь по большому счету речь не может строиться исключительно по-новому), а также, с другой стороны, роль **коллективного разума** как воплощенного в существующих конвенциональных формах (но важного не только при порождении речи, но и при ее **восприятии**). При всей субъективности происходящего процесса и того несомненного факта, что каждый индивид преследует в своем конструировании свои собственные цели и отражает при этом собственное виденье мира, все же его креативная жилка проявляется, прежде всего, в **выборе** неких форм из числа готовых. Создание же подлинно новых происходит относительно редко.

Несмотря на сделанные оговорки и здесь можно констатировать мирозозидающую функцию языка. Хотя речь говорящего и отражает субъективный образ объективного мира и индивидуальную картину мира, все это преломлено через коллективные сведения о мире, уже «пропущенные» через язык и объективированные в них. Вполне уместно в этой связи подчеркнуть тот факт, что в любом естественном языке в качестве предсуществующих речи конструкций налицо множество единиц, служащих штампами или являющихся стертыми метафорами и что — вообще — в каком-то смысле язык может «отставать» в передаче определенного содержания, а все это не может не отражаться на актах коммуникации как таковых. В то же время подлинно мирозозидающую функцию продолжают осуществлять большое число единиц, созданных **языковым определением** — практически они являются результатами семиотических операций и манипуляций со знаками, а потому и относящимися к чисто гипотетическим сущностям, не имеющим реальных аналогов в мире «как он есть», но строящим воображаемые, фантазийные и вымышленные миры. Среди этих единиц можно указать, прежде всего, на абстрактные имена, служащие обычно названиями категорий, ср. также [Кубрякова 2006а].

Важно отметить, что в рассмотренной концепции «конструирования мира» никогда не поднимался вопрос о соответствии языка и действительности: конструкции, порождаемые говорящими, считались просто констатацией того, как было осмыслено, увидено, понято говорящим то или иное описываемое им явление. Между тем проблема эта — о сути и источниках конструкций — широко обсуждается сегодня и в логике, и в философии, и в разных соци-

альных науках, а это позволяет рассматривать указанную проблему и на более широком фоне.

Таким фоном является для нас так называемый эпистемологический конструктивизм — одно из наиболее влиятельных направлений современной философии. Критикуя старую теорию познания за то, что она «пыталась понять познание как “зеркало природы”», современные конструктивисты утверждают, что «реальность, с которой имеет дело познание ... и в которой мы живем — это не что иное, как конструкция самого субъекта», и что «никакой другой реальности, действительности помимо конструируемой субъектом ... нет и быть не может», см. В. А. Лекторский в [Ирисханова 2008: 3—4]. И далее: «современные конструктивисты исходят из того, что никаких “данных” вообще нет и быть не может и что все когнитивные образования могут быть представлены как конструкции» [Там же: 5]. Но не в том же ли самом состоит концепция Матураны, кратко охарактеризованная нами выше, или же идеи когнитологов о «конструировании мира»? И не идет ли при этом речь об отказе от материалистических позиций в философии и общем видении мира, которые объявляются при этом устарелыми? Однако, доведенные до логического конца, подобные утверждения равносильны положению о том, что все теории, все гипотезы, все описания мира — это исключительно детища разума, что, конечно, правильно! — но если бы при этом только не закрывался вопрос о том, на каких **основаниях** они существуют и на чем они базируются! Однако именно указанный отказ, превращаемый в общий принцип конструктивизма, означает, что все сведения о мире, собранные людьми и так или иначе зафиксированные в языковых формах — «конструкциях», — это сведения не о природе, не о мире «как он есть», а о том, что люди о них думают и что независимо от практики взаимодействия человека и природы. Но наш мир и вся вселенная — это отнюдь не детище нашего разума, все это имеет чисто физические основания, и, разрушая их, человек губит и себя самого — губит в войнах, губит в непродуманных действиях с природой и при непонимании следствий каждого из своих начинаний. Таким образом, эпистемологический конструктивизм в своих крайних проявлениях отнюдь не так уж и безвреден. Не безвредна и идея трактовки конструкций как чисто ментальных, или, точнее, интеллектуальных образований, поддерживаемых их объективацией в языке, но в то же время не

соответствующих никакой реальности, см. также Н. М. Смирнова в [Ирисханова 2008: 18].

На наш взгляд, всякому знанию предшествует онтологическая реальность, хотя и в соответствии со всеми допущениями и возможностями, «записанными» в биопрограмме человека, а потому «пропущенная» через его разум (мозг), но все же имеющая, в конце концов, некие материальные, физические основания — *bodily experience*. И если признавать, что «умеренный конструктивизм вполне совместим с научным реализмом, так как не посягает на онтологическую реальность объекта познания», см. Н. М. Смирнова в [Там же: 18], то с его элементами можно согласиться и в КН и в КЛ, но только лишь при соблюдении указанного требования.

Есть своя онтологическая реальность и у такого объекта, как язык. Хочется поэтому подчеркнуть, что познание языка и выявление его сущности подчиняется тем же условиям, что и познание любого объекта. Как справедливо указывает Е. А. Мамчур: «Между познаваемыми объектами... и познающим субъектом стоят мировоззренческие, культурные и ценностные предпосылки познавательной деятельности, несомненно влияющие на интерпретацию и истолкование фактов и даже на содержание теоретических принципов и постулатов научных теорий» [Мамчур 2004: 33]. Добавив к этому важные для лингвиста **исторические** предпосылки всей деятельности с языком, а также подчеркнув особую значимость самого принципа деятельностного подхода при исследовании языка, мы не можем не согласиться с мнением В. А. Лекторского, высказанным им при завершении работы Круглого стола, посвященного обсуждению проблем конструктивизма, см. подробнее [Ирисханова 2008]. Он указывает: «Познание со всеми своими конструкциями имеет дело именно с реальностью. Вместе с тем, познающее существо “вырезает” из реальности именно то, что соотносимо с его деятельностью. Именно в этом направлении, — отмечает Лекторский, — ряд исследователей видят будущее когнитивной науки» [Там же: 37]. Думается, что если сегодня мы «вырезаем» из языка такую его «высшую реальность», как **дискурс**, мы находимся на правильном пути и при постижении его сущности.

Хотела бы в заключение отметить, что по-прежнему считаю перспективными исследования процессов концептуализации и категоризации. Ведь они несомненно имеют прямое отношение к опре-

делению сущности языка и его ориентирующей функции. С этих процессов собственно и началась когнитивная лингвистика. Однако их анализ принял в настоящее время в зарубежном и отечественном языкознании разные формы. Если изучение этих процессов в зарубежном языкознании носило прежде всего характер наблюдения в области пространственной концептуализации, и сами процессы при этом не подвергались достаточной дифференциации, то в отечественном языкознании, особенно в серии прекрасных работ Н. Н. Болдырева и его учеников, напротив, эти процессы были достаточно разведены. Наиболее подробно здесь были описаны результаты этих процессов, осуществленных с помощью глагола и глагольных конструкций, что дало возможность «портретировать» значительное количество событий и ситуаций. Очевидно, что в таком «портретировании» и проявляется ориентирующая функция языка.

ЛИТЕРАТУРА

- Горизонты современной лингвистики. М., 2009.
- Имото 2006 — *Имото С.* Философское основание теории восприятия Матураны // Язык и познание: методологические проблемы и перспективы. *Studia Linguistica Cognitiva*. Вып. 1. М.: Гнозис, 2006. С. 8—19.
- Ирисханова 2008 — *Ирисханова О. К.* Конструктивизм в эпистемологии и науках о человеке. Материалы круглого стола // *Вопр. философии*. 2008. № 3.
- Кубрякова 1978 — *Кубрякова Е. С.* Части речи в ономаσιологическом освещении. М., 1978.
- Кубрякова 1997 — *Кубрякова Е. С.* Части речи с когнитивной точки зрения. М., 1997.
- Кубрякова 2004 — *Кубрякова Е. С.* Язык и познание. М., 2004.
- Кубрякова 2006а — *Кубрякова Е. С.* В генезисе языка, Или размышления об абстрактных именах // *Вопр. когнитивной лингвистики*. 2006а. № 3. С. 5—14.
- Кубрякова 2006б — *Кубрякова Е. С.* О новых задачах в изучении функций словообразования // *Функциональные аспекты словообразования: доклады IX Междунар. науч. конф. по славянскому словообразованию*. Минск, 2006б. С. 141—147.

- Лузина 2006 — *Лузина Л. Г.* О когнитивно-дискурсивной парадигме лингвистического знания // Парадигмы научного знания в современной лингвистике: Сб. науч. трудов. М.: ИНИОН РАН, 2006. С. 41—50.
- Мамчур 2004 — *Мамчур Е. А.* Объективность науки и релятивизм // К дискуссиям о современной эпистемологии. М., 2004.
- С любовью к языку: Сб. науч. трудов. М.; Воронеж, 2002.
- Трофимова 2006 — *Трофимова Е. Б.* Статус языка в концепции У. Матураны // Язык и познание. М.: Гнозис, 2006. С. 20—30.
- Якобсон 1983 — *Якобсон Р.* В поисках сущности языка // Семиотика. М.: Радуга, 1983. С. 102—117.
- Якобсон 1996 — *Якобсон Р.* Язык и бессознательное // От составителей. М.: Гнозис, 1996.
- Maturana 1992 — *Maturana H. R.* The biological foundations of self consciousness and the physical domain of existence // *Luhmann N., Maturana H. et al.* Beobachter: Konvergenz der Erkenntnistheoren? (2nd ed.) Munich, 1992. P. 47—117.

О соотношении языка и действительности и связи этой проблемы с трактовкой понятия знания

Мы так привыкли к утверждениям типа «язык отражает определенную картину мира» или «в языке находит отражение мир», что уже давно не ставим их под сомнение; редко ставится под сомнение и факт «зеркальности» подобного отражения, как если бы мир существовал для человека в некоем готовом и заранее данном ему виде, а язык и был создан для того, чтобы «правильно» его отразить. Уж не говоря о том, что такая точка зрения неверна, поскольку человек рисуется здесь как пассивный созерцатель действительности, а не ее активный преобразователь, невозможно принять ее и потому, что раз и навсегда заданной среды просто не существует: информация, приходящая к человеку извне, постоянно меняется, и хотя в его биопрограмму и включены известные диапазоны и пороги восприятия информации, поступающей по разным каналам, варьируются в достаточно широких пределах и они. Почему же в таком случае у нас вызывает интуитивное неприятие та теория восприятия, которую — взамен традиционной — предлагают нам чилийский биолог У. Матурана и его последователи и согласно которой в окружающей человека действительности на самом деле нет ни облаков, ни скал, ни деревьев? Все это создано якобы лишь языковым определением. Да и вообще — существует ли что-либо вне и помимо человеческого сознания, что еще совсем недавно считалось онтологической реальностью, осмысливаемой человеком в познавательных процессах и затем отражаемой в языке?

Уже то, что в современной науке и современной философии все чаще задаются указанные вопросы, свидетельствует не только о радикальности происходящих в них перемен, но и о необходимости разобраться в поставленных проблемах и в рамках лингвистики. Ведь именно для нее вопрос о том, чему служит язык и о чем свидетельствуют наблюдающиеся в нем единицы и категории, а также о чем говорит язык по поводу осмысления им мира в осуществляемых им процессах его концептуализации и категоризации. Да и кому же,

как не лингвистам стоит попытаться ответить на вопрос о том, что стоит за обозначениями и описаниями разных фрагментов человеческого опыта?

Поскольку мы уже начали рассуждения на эту тему в нескольких последних работах [Кубрякова 2006; 2008], настоящее сообщение мыслится как их продолжение; в то же время изменен несколько и ракурс их рассмотрения соответствующих проблем, ибо здесь они освещаются не только как связанные с анализом корреляций, существующих между языком и действительностью, но и с зависимостью между решением этой проблемы и проблемы знания и его источников.

* * *

Поскольку в дальнейшем изложении речь пойдет о статусе и содержании термина «знание» в современных науках когнитивного цикла, а значит, и в современной когнитивной лингвистике (далее — КЛ) как ведущего направления теоретической лингвистики в целом, мне кажется необходимым предпослать настоящему сообщению некоторые размышления об общем состоянии дел в названных науках. С одной стороны, явно ощущается, что время научных революций уже прошло: можно скорее утверждать, что, напротив, в КЛ появились первые признаки начавшегося за рубежом застоя. В ходе революционных преобразований второй половины XX века структурализм уступил место генеративизму, а параллельное развитие в течение нескольких десятилетий генеративизма и когнитивизма завершилось, в конечном счете, победой последнего. Да и когнитивная лингвистика, оформившаяся официально в Дуйсбурге (Германия) в 1989 г., уже имела к этому времени откровенно выраженный антихомскианский характер. Формализм генеративной грамматики был по большей части вытеснен функционализмом и общей тенденцией к господству антропоцентрических принципов и устремлений. Нельзя не признать, что такому направлению развития следовала и отечественная лингвистика, в которой ономасиологическая школа лингвистических исследований (эта ранняя версия когнитивизма) вполне закономерно сменилась антропоцентрической (ср. с этой точки зрения всю серию работ, посвященных изучению роли человеческого фактора в языке), а далее и собственно когнитивной. Здесь, наконец, ко второй половине 90-х гг. прошлого века начинает

формироваться и такая новая парадигма лингвистического знания, как когнитивно-дискурсивная.

Казалось бы, что таким образом современная лингвистика приобретает статус зрелой науки (в куновском смысле) и выдвигает, действительно, новую модель постановки проблем и способов ее решения и что несколько десятилетий она продолжает уточняться и совершенствоваться. Однако наряду с этим появляются и первые тревожные симптомы неудовлетворенности складывающимся к настоящему времени положением дел: строго говоря, той междисциплинарной областью исследований явлений языка, которой обещала стать когнитивная наука, она так и не стала. Наметившиеся здесь сближения когнитивной лингвистики с когнитивной психологией не сказались достаточно радикально на практике проведения лингвистических исследований (см. подробнее ниже).

Нельзя не отметить в то же время, что обе науки, провозгласившие себя когнитивными, сделали значительный шаг вперед, освобождаясь от догм бихевиоризма и отказываясь от прямолинейного связывания явлений в диаде «стимул — реакция». С философской точки зрения здесь преобладала позиция научного реализма, получившего тогда название экспериенциализма, утверждавшего значимость опытных данных и, прежде всего, сенсомоторного опыта человека в получении знаний. Неоднократно подчеркивалось, что язык проводит членение мира в том его виде, в каком он субъективно предстает перед отдельным индивидом и субъективно им же осмыслен и интерпретируется. О том, что такая точка зрения чревата неожиданными последствиями, тогда и не задумывались; между тем тенденция определять разум не как коллективный, а потому и как зависящий от социально-исторических и пр. факторов, принимала все более опасные формы. Не принесли ожидаемых результатов, в частности и поэтому, и связи лингвистики с нейронауками, с одной стороны, и с биологией — с другой. Не сразу подверглось резкой критике требование представителей нейронной теории языка связывать анализ языковых явлений исключительно с чувственной (нейронной) тканью головного мозга и непосредственно со строением его отдельных частей. Крайней формулировкой здесь оказалось отождествление собственно языковых структур с нейронными, да и сам постулат о том, что «когнитивная лингвистика не является когнитивной, если в ней игнорируются данные о структуре мозга»,

как то утверждают Э. Додж и Дж Лакофф (цит. по [Rohrer 2006: 200]), звучит достаточно странно.

Между прочим, уже канадские представители раннего когнитивизма предупреждали о невозможности прямых заключений о функциях мозга на основании исследований его физиологических особенностей (ср., например, экспериментальные данные З. Пылишина, Дж. Макмиллана и А. Пейвио).

Показательно также, что в нейронной теории языка сознательно отсекаются все связи мозга современного человека с теми факторами, что обуславливали его эволюцию, да и меняли — например, под влиянием появления новых технологий и новых достижений в области науки — само восприятие мира. Было бы поэтому уместно использовать для критики нейронной теории Дж. Лакоффа концепцию эволюционной эпистемологии К. Лоренца и его последователей. Согласно этой концепции знание (и человеческий опыт) представляет собой форму приспособления живого организма к окружающему миру, выработанную долгим эволюционным путем. Но в таком случае следует предположить, что «в самих когнитивных механизмах живых существ заложен вектор на максимально возможную очищенность восприятия от привнесенных, в том числе и конкретно-телесных факторов», ср. Е. Н. Князева в [Конструктивизм... 2008: 8]. Однако сама такая «очищенность», т. е. известное высвобождение восприятия от перцептуальных характеристик воспринимаемого объекта и усиление черт концептуальных, может достигаться только исторически. Но в таком случае «сознание не выводимо и не сводимо к нейрофизиологическим процессам» [Там же].

Лично мне такими же неубедительными кажутся и попытки представить в качестве нового слова науки теорию восприятия У. Матураны и тем более — построить на ее основе фундамент современной теории языка (ср. в серии работ А. В. Кравченко и в изданном под его редакцией специальном сборнике [Studia Linguistica Cognitiva 1]). Я бы не стала говорить здесь об этих взглядах, если бы они не имели прямого отношения к обсуждаемым нами проблемам знания, а последние нельзя рассматривать, не ответив на центральный для науки вообще вопрос о том, а знаниями о чем являются знания человека, объективированные в языке. Ведь нас уже не может удовлетворить тот простой ответ на заданный вопрос, который заключается в словах об отражении мира в языке как пассивной

регистрации человеком окружающей его действительности и понимание последней как некой стабильной и заранее данной сущности, которую человеку и предстоит, познавая ее, отразить. Будь это так, откуда бы появились данные о **разном членении** мира в разных языках и о фиксации в языке итогов разной **сортировки** человеческого опыта, о разной концептуализации и категоризации всего того, с чем сталкивался человек в длящихся тысячелетиями процессах адаптации и приспособления человека к той среде, в которой он был вынужден не только выжить, но с которой он **взаимодействовал** для продолжения рода.

Все эти сложнейшие процессы, требовавшие осмысления и познания природы и ее закономерностей, всегда происходили в актах действий с ее отдельными фрагментами, — они заставляли людей не только приспособливаться к разным условиям их существования в природной среде, но и создавать в ходе подобного приспособления такие структуры деятельности, а также, конечно, и такие артефакты, которые отвечали бы тем или иным потребностям и нуждам человека и которые были бы невозможными без накопления определенного опыта и определенных знаний. Но коэволюция касается не только мозга и окружающего его мира — она не оставляет неизменным и строение языка.

Эволюция же языка оказывается, в свою очередь, связанной во всех указанных процессах и с разными природными условиями жизни первобытных людей (от них, в конечном счете, зависело развитие разных структур кооперативной деятельности людей), а значит, и с вплетенностью языка в разные типы осуществляемой человеком деятельности, и с необходимостью усовершенствования самих рецепторов, участвовавших в восприятии окружавшего человека предметного мира. Нельзя также не учитывать и разнообразие форм информации, поступавшей извне и требующей известного обобщения пакетов ощущений, приходящих к человеку по разным каналам и зависящих от релевантности подобных ощущений для осуществления определенных типов деятельности (охоты, производства тех или иных орудий труда, приготовления пищи, добывания огня и т. д. и т. п.). Немалую роль начинает играть язык и в передаче опыта от одного человека к другому / другим, а главное, в передаче опыта от одного поколения к другому, что тоже требовало отделения более важной информации от менее важной и постепен-

ного оформления знаний прежде всего в виде простейших знаний о причинно-следственных отношениях в природе и поступках людей. Иначе говоря, «пробуждающееся мышление» (по определению Ф. Кликса), возникающее в ходе постоянной необходимости решать те или иные задачи чисто практического характера, все больше начинало базироваться на дифференциации существенного и несущественного, прагматически релевантного и нерелевантного и т. п., а это требовало, в свою очередь, **обобщения опыта**, а следовательно, и **отвлечения** от каких-то преходящих его черт за счет выдвижения на первый план других. Нельзя не напомнить в этой связи об актах семиозиса, предполагавших использование (создаваемого) знака **взамен** более развернутых структур знания об именуемых объектах и явлениях и, одновременно, **вместо** складывающихся в сознании человека **концептуальных объединений**: «пробуждающееся мышление» было изначально связано с процессами **концептуализации** и **категоризации** действительности. Очевидно поэтому, какое значение мы придаем в этих процессах самому **определению действительности** как **источнику** опыта и знаний человека и вербализации знаний: по сути дела знания формируются как результат человеческого опыта, облеченные в языковые структуры, т. е. объективированные в языке. Величайшей заслугой когнитивной науки и когнитивной лингвистики мы полагаем не только признание прямой и ингерентной связи между языковыми формами и стоящими за ними структурами знания, но и признание последних как кладущихся в основу значения и содержания самих языковых форм.

В этом смысле **знанием** могут быть названы те и только те фрагменты сведений о мире, которые по своему содержанию **обобщают** наиболее важные черты этих самых сведений и представляют их в виде определенных закономерностей, регулярностей, правил и т. д., но которые оказываются облеченными в специально создаваемую для них языковую *форму*.

Дойдя до рассуждений об эволюции языка в соответствии с миром «как он есть» и важности для нее процессов обобщения человеческого опыта, принимающих форму категоризации этого опыта, мы, казалось бы, несколько отступили от обсуждения темы состояния дел в современной лингвистике, но это не так. Самим рассмотрением явлений категоризации как явлений лингвистических мы обязаны когнитивной науке и когнитивной лингви-

стике, именно в этом отношении — притом как в понимании строения и организации категорий как естественных рубрик членения и обобщения опыта, так и в описании главных областей подобного членения (преимущественно-пространственного) — когнитивной лингвистике и принадлежат основные заслуги. Неоспоримым является тот факт, что как зарубежные, так и отечественные когнитологи сделали исключительно много для того, чтобы показать пути формирования разных языковых категорий и особенности их разных типов и прежде всего — так называемых **естественных** категорий (т. е. построенных либо по прототипическому принципу, либо по типу фамильного сходства у ее отдельных членов). Но, сказав новое слово в том, как объединяются в одно целое представители разных категорий, когнитологи отошли от постановки и решения вопросов о том, что группируется в категории, и соответствует ли общий процесс категоризации в языке той или иной (и тем более — какой именно) **реальности**. Проще говоря, при всем огромном интересе к указанным проблемам, вопрос о соотношении языка и действительности, языка и **онтологической** реальности категорий, был незаслуженно отодвинут в сторону. Между тем как раз в сфере рассмотрения этой проблемы и выявились главные расхождения в ее решении и прямо противоположные философские позиции у тех, кто прямо или косвенно принимал участие в ее решении. Но если у представителей нейронной теории языка господствовали идеи чистого «физиологизма» (а это приводило к элиминации в определении языковых структур их культурно-социологической составляющей, см. подробнее [Rohrer 2006]), то в биологических теориях языка прямому отрицанию подверглось само представление об онтологической реальности как фундаменте всех процессов познания. Материализм как философское течение был полностью вытеснен из рассуждений о том, что «отражает» язык: особенно радикальной оказалась при этом и теория восприятия У. Матураны. Нельзя в этой связи не отметить, что полемика вокруг источников человеческого знания вышла далеко за пределы обсуждения вопросов о соотношении языка и действительности — ср., например, особенно показательные в этом смысле Материалы Круглого стола, посвященного так называемому эпистемологическому конструктивизму и опубликованные в «Вопросах философии», см. [Конструктивизм... 2008].

Критикуя старую теорию познания за то, что она «пыталась понять познание как “зеркало природы”, современные конструктивисты утверждают, что “реальность, с которой имеет дело познание, ...и в которой мы живем — это не что иное, как конструкция самого субъекта”» и что «никакой другой реальности, действительности, помимо конструируемой субъектом, ...нет и быть не может», см. В. А. Лекторский в [Конструктивизм... 2008: 3—4]. И далее: «современные конструктивисты исходят из того, что никаких “данных” вообще нет и быть не может и что все когнитивные образования могут быть представлены как конструкции» [Там же: 5]. Однако, доведенные до логического конца, подобные утверждения равносильны признанию того, что все конструкции и все сведения о мире — это детище разума человека и что теория познания в конечном счете исследует не саму природу, а то, что о ней думает человек! Но в таком случае и сами знания превращаются в чисто ментальные конструкции, созданные из ресурсов языка, но в то же время не соответствующие никакой реальности (ср. Н. М. Смирнова в [Там же: 18]). Однако всякому знанию предшествует онтологическая реальность, хотя и преобразованная человеческим мозгом, хотя и «пропущенная» через его разум, но все же и в таком «сконструированном» этим разумом виде имеющая онтологические основания! И если признавать тезис о том, что «умеренный конструктивизм вполне совместим с научным реализмом, так как не посягает на онтологическую реальность объекта познания», см. Н. М. Смирнова в [Там же], то и знания, рассматриваемые с материалистических позиций, следует считать тем более приближенными к истине, чем в большей степени они соответствуют онтологии познаваемого объекта.

В формировании знаний мы считаем вместе с тем необходимым учитывать факторы двух планов: с одной стороны и прежде всего, данные, обусловленные онтологией объекта, но, с другой стороны, мы не отрицаем и конструктивной роли эпистемических, ценностных, социокультурных и, наконец, чисто исторических предпосылок как важных условий, предваряющих сам запрос о сути того или иного явления и определяющих конкретное направление научного поиска в особой области познания. Иначе говоря, появление новых знаний — чрезвычайно сложный процесс прохождения от незнания к знанию, связанный с целой системой

факторов, каждый из которых, в свою очередь, существует в определенной системе координат. Как справедливо указывает Е. А. Мамчур, «между познаваемыми объектами... и познающим субъектом стоят мировоззренческие, культурные и ценностные предпосылки познавательной деятельности, несомненно, влияющие на интерпретацию и истолкование фактов и даже на содержание теоретических принципов и постулатов научных теорий» [Мамчур 2004: 33].

Для нас, обсуждающих тему знания, особенно важны заключительные слова рассмотренного Круглого стола, принадлежащие В. А. Лекторскому, о том, что «познание со всеми своими конструкциями имеет дело именно с реальностью. Вместе с тем познающее существо “вырезает” из реальности именно то, что соотносимо с его деятельностью. Именно в этом направлении, — подчеркивает В. А. Лекторский, — ряд исследователей видят будущее когнитивной науки» [Конструктивизм... 2008: 37].

Соглашаясь с таким видением будущего когнитивной науки и когнитивной лингвистики, на долю которой приходится в соответствии со сказанным выше познание реальности как связанное с языком и потому далее влекущее за собой и познание языка, мы хотели бы одновременно с этим отметить и то, что само познание языка на современном уровне развития науки предполагает в том числе и критическую оценку методологических принципов, лежащих в основе **подходов** к явлениям языка. На этом, собственно говоря, базировалось и предпринятое нами рассмотрение положения дел в современной лингвистике, которое мы считаем необходимым завершить анализом еще одного весьма распространенного здесь подхода, а именно — подхода **концептуального**. О разновидностях этого подхода нам уже приходилось говорить и раньше, см. [Кубрякова 2007], но в настоящей работе мы вынуждены еще раз остановиться на негативных его следствиях. Речь при этом идет о том его варианте, который, хотя и развивается якобы в рамках КЛ, см., например, [Маслова 2005] и особенно двухтомную «Антологию концептов» и др., фактически не имеет с ним ничего общего, кроме используемого в нем понятия концепта (используемого, кстати говоря, у представителей этого подхода в значениях, не совпадающих с принятыми в когнитивистике и, по сути дела, далекого от этого значения).

Совпадая, опять-таки чисто внешне, с течением так называемой *usage-based grammar* (т. е. грамматикой реального употребления языка), представители этого варианта концептуализма, не определяя точно конкретных целей своего анализа, ограничиваются обычно сбором данных (тоже зачастую — достаточно беспорядочным) об употреблении того или иного слова (и его синонимов), делают затем далеко идущие выводы о представленном в группе слов концепте, и не замечая, что такие операции носят, как это правильно отмечал в своих устных выступлениях Н. Н. Болдырев, характер порочного круга: сперва на основании словарных и/или дискурсивных данных устанавливаются «особенности» концепта в том или ином языке, а затем этот концепт объявляется, во-первых, наличествующим в сознании людей и в их менталитете / картине мира, а во-вторых, наделенным (уже в качестве ментального образования не-гештальтного типа!) способностью члениться и даже «обладать» некими «слоями» якобы описывающими его структуру!

Хочется отметить, что этот чуждый мне вариант концептуализма, которым грешат многие отечественные ученые, принципиально отличен и от исследования концептов духовной культуры, который был стимулирован работами Ю. С. Степанова, и от той версии концептуального анализа, в которой он осуществляется в школе логического анализа языка Н. Д. Арутюновой. И конкретные цели этих версий, и методика проведения в них самого концептуального анализа, да и его материал — все это уже принесло свои плодотворные результаты в исследовании языка, и можно надеяться, что установки двух названных направлений будут и впредь служить углублению наших знаний о роли языка в обществе и обогащать лингвокультурологические представления об этой роли.

Остается в заключение отметить и то, что некоторые черты неприемлемости концептуального анализа в его псевдокогнитивной версии уже были освещены и в статье М. В. Никитина, озаглавленной им, правда, к сожалению, не вполне удачно как «Российский уклон в когнитивной лингвистике» [Никитин 2006]. В этой статье ее автор совершенно правильно говорит «о спекулятивных выводах о специфике национального мышления и виденья мира» в работах указанного толка, о неправомерности «чрезмерно прямолинейных заключений о языковом материале» и, наконец, о личных, т. е. субъективных, пристрастиях авторов фантазий об особенностях наци-

ональных менталитетов (подчеркнуто мною. — *Е. К.*), см. [Никитин 2006: 279 и сл.]. С удивительной проницательностью он ставит вопрос о том, как и откуда приходят к людям знания, подчеркивая, что «духовный мир объективирует себя не только посредством языка, но еще и другим и изначально гораздо более важным способом — через деятельность мыслящих субъектов». Благодаря этому «новое знание и новые концепты поступают к человеку со стороны по большей части уже обработанными общественным опытом и систематизированными относительно тех участков мира, к которым они принадлежат» [Никитин 2006: 280—281]. Очевидно, как следует из этой цитаты, что знания отражают общественный, а потому и социально значимый опыт людей и что за ними стоят знания об особых «участках мира», т. е. известного «куска» онтологической реальности. Этим, собственно говоря, и можно было бы завершить наш обзор современного состояния дел в теоретической лингвистике и главных линий рассмотрения в ней соотношения языка и действительности, а значит, и понимания в ней **источников знания**. И все же до того как завершить доклад, заключив его коротким определением терминологического содержания самого этого понятия, мне хотелось бы обратить специальное внимание еще на один момент, важный для обсуждения темы, поднимаемой на настоящем Круглом столе. Он касается места самих категорий опыта, знания и информации в КН и КЛ.

Интересно, что как бы ни определялись установки когнитивной науки и с решением каких бы конкретных задач она ни связывалась, понятие знания неизменно входило так или иначе в подавляющее большинство относящихся к проблематике КН формулировок. Так, знаниями обуславливалось разумное поведение человека, а изучение процессов концептуализации и категоризации мира считалось подчиненным решению общих проблем получения знаний и обобщения итогов любой познавательной деятельности человека. Соответственно, в КЛ за каждой языковой единицей, по мнению когнитологов, стояли разные структуры и форматы знания. Наконец, концепт знания считался системообразующим и в дефиниции главного для понимания КН ее ключевого понятия, поскольку, как указывал автор руководства по когнитивной психологии Ст. Рид, выдержавшего несколько изданий и озаглавленного «Когниция: теория и ее применение», сама когниция «обычно просто опреде-

ляется как приобретение знания» [Reed 1996: 4]. Уточняя далее те процессы, в ходе которых подобные знания приобретаются, Рид цитирует основателя когнитивной психологии У. Найсера, согласно которому «Когнитивная психология отсылает нас ко всем процессам, благодаря которым сенсорные данные на входе преобразуются, редуцируются, обогащаются, хранятся, извлекаются и используются» [Там же]. Все эти процессы подвергаются последовательному рассмотрению при так называемом информационно-обрабатывающем данные подходе, из чего следует, что знания формируются — впрочем, так же, как и опыт человека — по мере прохождения определенных этапов в обработке и переработке информации.

Таким образом, здесь имплицитно предполагается, что **получение знаний** — конечный результат сложно организуемого процесса **восприятия** информации сенсорного типа, начинающегося с момента контакта человека с окружающей его действительностью. Лишь во втором разделе этого руководства рассматривается репрезентация и организация знания, под которой имеются в виду способы его упорядочивания по определенным категориям, но к определению знания как такового автор руководства так и не переходит. Более того. Создается впечатление, что это понятие не отличается ни от понятия разного рода умений и навыков (*skills*), ни от понятия опыта. Аналогичная недифференцированность этих понятий сохраняется в дальнейшем не только в специальной литературе по когнитивной психологии, но и по КЛ. Она же распространяется и на использование понятия знания в определении **значения** как определенной структуры знания, несмотря на тот факт, что значение знака может характеризоваться и как структура знания и опыта, мнения и оценки и т. п. Такое же неразличение указанных понятий мы наблюдаем и при разъяснении понятия **когниции**, охватывающего, как хорошо известно, широкий диапазон познавательных процессов, происходящих в сознании человека и включающих как процессы обыденного сознания, так и процессы, характеризующие специальную область научной деятельности. Соответственно, не дифференцируются и **источники** знания, среди которых можно назвать не только предметно-практическую деятельность *versus* научно-теоретическую, но и обучение человека на всем протяжении его жизни и в разных формах такого обучения.

Однако если включать в понятие когниции «приобретение знаний» (см. выше), то вопрос об источниках знаний (т. е. источниках его получения) возникает обязательно и влечет за собой неизбежно вопрос не только о том, откуда оно приходит к человеку (в смысле — на какие типы деятельности он распространяется), но и о том, что именно является отправным моментом в процессе познания. В этом же отношении может, по всей видимости, считаться неудовлетворительным ответ о значимости исключительно сенсорных, т. е. наглядных, чувственных данных, являющихся следствием непосредственного восприятия мира (или даже — непосредственного взаимодействия и контакта человека с окружающим его «субстратом»). Зато во весь голос начинает звучать вопрос о том, что же представляет собой подобный «субстрат» и не является ли им в конечном счете та онтологическая реальность, о которой мы говорили выше. Уточняя теперь проблему того, что же составляет базу современных представлений о мире и основания для всех знаний о нем, мы должны подчеркнуть особую роль среди них знаний, полученных не столько от ощущений и имеющих перцептуальную основу (*bodily experience*), сколько чисто теоретически. На наш взгляд, именно язык и все операции со знаками (как следствие владения человеком такой семиотической системой, как язык) позволяют выйти человеку за область и пределы непосредственно наблюдаемого и мыслить за счет языковых определений, формируя воображаемые миры и гипотетические ментальные пространства, и в этом смысле строить самые разнообразные конструкции. Особенно это касается пространств социальных (ср., однако, и чисто умозрительно строящиеся представления в сфере чисел).

Между тем с распространением идей генеративной грамматики и противопоставлением в ней компетенции говорящих и «исполнения» ими языка (в практике речи так называемого *performance*) возникает и оппозиция знаний чего-либо или знаний о чем-либо и знаний о том, как совершать какие-либо действия с объектами. Эта оппозиция получает название противопоставления *knowledge-that* и *knowledge-how*. Как указывал Н. Хомский, «способность использовать систему знаний должна быть точно отграничена от обладания этой системой» [Chomsky 1991: 51; 2000: 51—52]. Само же это разграничение проникает далеко за пределы лингвистики.

Вообще говоря, уже само противопоставление «знаний, что...» «знаниям, как...» свидетельствует о сложности той системы координат, внутри которой должно рассматриваться само знание. На самом деле, эта система еще сложнее: ведь наряду с вопросом о том, что собой представляет знание в той или иной области, существуют вопросы не только о том, как это знание используется, но и о том, как оно было **получено** (между прочим, два последних вопроса составляли, по Дж. Брунеру, проблематику КН). Знания также делили, в других терминах, на декларативные и процедурные (а последние понимались как необходимые для того, чтобы, применяя их, получили определенный результат), или же знания по предъявлению и непосредственному знакомству в отличие от знаний по описанию и т. п. Можно было бы продолжить аналогичные классификации знаний и по другим основаниям — например, различать знания экспериментальные и «умозрительные», знания личностные и коллективные, знания научные и обыденные, — и каждое такое противопоставление позволяло бы охарактеризовать знание в новом аспекте и/или с новой точки зрения. Подытоживая анализ самого понятия знания, можно поэтому утверждать, что за ним стоят огромные пласты сведений и что его представление какой-либо дефиницией достаточно нереально и даже его энциклопедическое истолкование всегда будет связано с теми или иными пробелами.

Не случайно поэтому, что словарные дефиниции знания могут содержать в качестве слова-идентификатора и «способность», и «свойство», и «совокупность сведений», и, наконец, «информацию». Это соображение (подкрепленное, конечно, и обращением к разным словарям) и заставило нас отказаться от мысли прокомментировать в нашей статье лучшие из дефиниций, да и брать на себя неблагодарную задачу разграничить (по данным словарей) значение таких слов, как «знание» и «информация». Впрочем, такую попытку уже сделали Е. Б. Китова и А. В. Кравченко в [StudiaLinguistica Cognitiva... 2006: 257—275].

Мы же, заключая наш анализ, можем еще раз отметить, что, несмотря на давние традиции рассмотрения знания в философии и логике, гносеологии и эпистемологии и других конкретных науках, науки современного когнитивного направления уже внесли в разъяснение этого сложнейшего понятия свой несомненный вклад. Внесли свою лепту в указанную проблематику и лингвисты. Не будет большим

преувеличением сказать и о том, насколько важен для этой проблематики вопрос, каковы же реальные источники знаний — по крайней мере, в том их виде, в каком они представлены в естественных языках, а потому и входят в число понятий, характеризующих человеческий разум.

ЛИТЕРАТУРА

- Виноградов 2007 — *Виноградов В. А.* Вступительное слово при открытии Круглого стола «Концептуальный анализ языка: Современные направления исследования» // Концептуальный анализ языка: современные направления исследования: Сб. науч. трудов. М., 2007. С. 5—6.
- Конструктивизм в эпистемологии и науках о человеке. Мат-лы Круглого стола // Вопросы философии. 2008. № 3. С. 3—37. (*Цитируемые в статье авторы указываются с их инициалами в круглых скобках внутри квадратных*).
- Кубрякова 2006 — *Кубрякова Е. С.* В генезисе языка, или Размышления об абстрактных именах // Вопросы когнитивной лингвистики. 2006. № 3. С. 5—14.
- Кубрякова 2008 — *Кубрякова Е. С.* В поисках сущности языка // Международный конгресс по когнитивной лингвистике: Сб. мат-лов / Отв. ред. Н. Н. Болдырев. Тамбов, 2008. С. 43—47.
- Кубрякова 2007 — *Кубрякова Е. С.* Предисловие [к сб. науч. трудов] // Концептуальный анализ языка: Современные направления исследования. М., 2007. С. 7—18.
- Мамчур 2004 — *Мамчур Е. А.* Объективность науки и релятивизм. К дискуссиям в современной эпистемологии. М., 2004.
- Маслова 2005 — *Маслова В. М.* Введение в когнитивную лингвистику. Кемерово, 2005.
- Никитин 2006 — *Никитин М. В.* Российский уклон в когнитивной лингвистике // Интерпретация. Понимание: Сб. науч. статей. СПб., 2006. С. 272—286.
- Пименова и др. 2004 — *Пименова М. В. и др.* Введение в когнитивную лингвистику. Кемерово: Графика, 2004.
- Chomsky 1991 — *Chomsky N.* Linguistics and Cognitive Science: Problems and Mysteries // *The Chomsky an Turn* / Ed. by H. Kasher. Oxford; Cambridge (Mass.), 1991.

Chomsky 2000 — *Chomsky N.* New Horizons in the Study of Language and Mind. Cambridge (Mass.), 2000.

Reed 1996 — *Reed St. K.* Cognition: Theory and Application. 4-th ed. San Diego State Univ., 1996.

Rohrer 2006 — *Rohrer T.* Three dogmas of embodiment: Cognitive linguistics as a cognitive science // *Cognitive Linguistics: Current Applications and Future Perspectives*. Berlin; New-York, 2006. P. 119—145.

Studia Linguistica Cognitiva. Вып. 1. Язык и познание. М.: Гнозис, 2006.

К ПРОБЛЕМЕ МЕНТАЛЬНЫХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ*

Вопрос о ментальных репрезентациях, казалось бы, возвращает нас к работам первого поколения когнитологов. Именно тогда и вплоть до 1990-х гг. проблемы, касавшиеся определения репрезентаций и их роли в процессах мышления, были объявлены ключевыми как для когнитивной психологии, так и для когнитивной лингвистики, а само понятие репрезентации широко обсуждалось в зарубежной литературе, особенно в литературе по искусственному интеллекту. Это было обусловлено интересом когнитологов первого поколения к природе знания как такового и к сущности разнообразных мыслительных процессов, относящихся к его возникновению и его использованию, а также к когнитивным способностям, участвующим в этих процессах.

Знание и его репрезентация, — указывали, например, специалисты по искусственному интеллекту, — это главные проблемы когнитивной науки, формулируемые здесь как вопросы о том, «какие структуры данных целесообразны для представления знаний» и «какие операции на этих когнитивных структурах необходимы для того, чтобы обеспечить разумное поведение человека» [Schank, Kass 1988: 18]. Спустя десятилетие в своем «Введении в когнитивную науку» Р. Тагард подчеркивал, что «большинство когнитологов соглашались с тем, что знание в разуме человека состоит из **ментальных репрезентаций**» и что «когнитивная наука утверждает: люди обладают **ментальными процедурами**, которые оперируют ментальными репрезентациями для осуществления мышления и действий» (выделено самим Тагардом) [Thagard 1996: 4—5]. По Тагарду, к основным типам когнитивистских ментальных репрезентаций относятся: правила, концепты, аналогии, образы и «коннекционистские связи» (то есть искусственные нейронные сети) [Ibid.: X].

В когнитивную науку понятие репрезентации пришло из психологии, где оно имело более узкий смысл. Полемизируя с Ж. Пиаже,

* Статья написана в соавторстве с В. З. Демьянковым.

в трудах которого термины «символизация» и «репрезентация» почти взаимозаменяемы, Э. Бейтс определяет термин «репрезентация» как «вызывание в памяти различных процедур действия для оперирования с объектом при отсутствии перцептивного подкрепления со стороны объекта» [Бейтс 1984: 95]. Несмотря на то, что главное для символической деятельности, как и для репрезентации — это «способность замещать» [Там же: 64] (в частности, при репрезентации объектов в памяти), по Бейтс, между символизацией и репрезентацией существуют важные различия. Так, репрезентация «статична» и создает «ментальные единицы» (mental entities), а символизация, предполагающая прежде всего единицы материальные, выборочна: при ней выбираются некоторые части целого, которые должны «представлять» [Там же: 96].

В языкознании своеобразную моду на употребление термина «репрезентация» связывают с именем Хомского, см. [Chomsky 1980]. Во многом его словоупотребление совпадает со стандартом. Однако время от времени у него встречаются такие переносные употребления, в которых не предполагается «прообраза» для репрезентации. Например: «Начиная с 1950-х годов в генеративной грамматике фокус исследовательского внимания постепенно перемещался на языковое знание, которым обладает каждый отдельный носитель языка, а также на системы языкового знания, которыми обладают носители языка, — то есть на видовую способность человека усваивать и использовать естественный язык (...). В этой перспективе язык предстает как естественный объект, как составная часть человеческого разума, физически репрезентированный в мозгу и являющийся одной из родовых биологических характеристик. В рамках этих положений языкознание является разделом психологии индивида и когнитивных наук; в конечном итоге, языкознание занимается выявлением свойств центрального компонента человеческой природы, определяемого в рамках биологического окружения»¹. Итак, язык как объект природы «репрезентирован», или «представ-

¹ «Ever since the 1950s, generative grammar shifted the focus of linguistic research onto the systems of linguistic knowledge possessed by individual speakers, and onto the «Language Faculty», the species-specific capacity to master and use a natural language [...]. In this perspective, language is a natural object, a component of the human mind, physically represented in the brain and part of the biological endowment of the species. Within such guidelines, linguistics is part of individual psychology and of the cognitive sciences; its

лен» в мозгу, а не мозг продуцирует язык (как ожидали бы услышать материалисты). Подобные словоупотребления следует иметь в виду в поисках более четкого и краткого определения репрезентации знания, поскольку знание в словосочетании *репрезентация знания* также парадоксально предстает перед нами как объект природы, существующий вне каждого отдельного человека.

И далее, с квалификацией «так принято говорить», он же пишет: «Каждое выражение, таким образом, представляет собой внутренний объект, состоящий из двух наборов информации: фонетической и семантической. Эти наборы называются “репрезентациями”, а именно, фонетической и семантической; однако нет никакого изоморфизма между этими репрезентациями и характеристиками окружения»². Оппоненты этого взгляда полагают, что в рамках своей «минималистской» программы Хомскому достаточно было бы принять только одну репрезентацию³.

Под влиянием генеративизма и смежных дисциплин в языкознании некоторое время термин «репрезентация» стал очень востребованным и частотным. Однако на рубеже веков популярность этого термина в когнитивной литературе снизилась по следующим причинам:

1. Имеется конфликт между терминологическим и обыденным значениями, в которых лексемы *репрезентация* и *репрезентировать* употребляются в некоторых европейских языках. А именно, *репрезентация* в английском и французском языках (в меньшей степени — в немецком) издавна употребляется как слово обыден-

ultimate aim is to characterize a central component of human nature, defined in a biological setting» [Chomsky 2002: 1].

² «Each expression, then, is an internal object consisting of two collections of information: phonetic and semantic. These collections are called “representations”, phonetic and semantic representations, but there is no isomorphism holding between the representations and aspects of the environment» (p. 87). Популярный очерк динамики развития хомскианской философской и политической мысли см. [Sperlich 2006].

³ «Moreover, a minimalist language as suggested in the MP could probably do with just one level of linguistic representation, which would have an interface with cognition on the one hand and with a motor-perceptual system on the other, each interface being blind to the features that are reserved for the other. For Chomsky, however, it is “conceptually necessary” that there should be two levels of representation, each geared to the demands of one of the two interfaces mentioned. The nature of this form of conceptual necessity is not clear» [Seuren 2004: 18].

ного языка. В этих языках выражение «X репрезентирует Y» значит, среди прочего, что:

- X отражает не все свойства Y как своеобразного прообраза, а только некоторые, являясь обеднением (в количественном и качественном отношениях) этого прообраза Y. Например, «Онегин *represents* молодое дворянство своего времени», по-русски: «Онегин является (типичным) представителем молодого дворянства своего времени».
- X представляет собой Y. Например, идеи — *ideas represent mental processes*: X является одним из видов (но не элементов — в отличие от предыдущего свойства) этого Y.
- X может быть вообще из иной субстанции, чем Y, или даже чем элементы этого Y. Так, грамматика *represents English* — это, действительно, более бедное нечто, имеющее к тому же иную природу.

Генеративизм исподволь добавил к этим еще следующее значение: выражение «X репрезентирует Y» значит, что формальный объект X задает множество всех высказываний Y, причем обычно X более широко, чем само Y. Сужение X составляет задачу генеративного описания так, чтобы множество порождаемых объектов соответствовало множеству объектов в описываемом языке Y. Отметим как особый случай соотношение между искусственным языком и его грамматикой: тогда X по замыслу его создателей должен совпадать с Y. Так, язык эсперанто был создан таким образом, чтобы любому предложению на нем как продукту грамматики соответствовал некоторый смысл. Не так обстоит дело в обычном естественном языке.

Употребление слова *репрезентация* в обыденном языке, тем не менее, продолжало влиять на терминологическое употребление, иногда вызывая некоторые неудобства. Например, выражение *The Linguistic Representation Of Women And Men* в названии книги [Hellinger, Bußmann (eds.) 2001] следует интерпретировать так: «Как язык рисует женщин и мужчин». То есть слово *репрезентация* содержит сему «отображение». Выражения же типа *Logic and representation* (так называется книга Роберта Мура [Moore 1995]) следует воспринимать как эллипсис для более полного «Логика и репрезентация суждений»: все-таки, говоря о репрезентации, мы должны знать, что именно, чем и как репрезентируется, ср. [Jackendoff 1993].

К репрезентации мы прибегаем, когда недоступен оригинал: таким образом недоступность и даже запрет компенсируются ощущением (иногда иллюзорным) «совместного владения»⁴. Репрезентация сообщает, «коммуницирует»: репрезентируя нечто, сообщает о некоторых важных свойствах репрезентированной сущности. Впрочем, с приходом постмодернизма репрезентация становится формой репрессии: вместо того, чтобы дать доступ к оригиналу, она подавляет желание получить этот доступ [Iser 2006: 141].

В обыденном языке недаром слово *репрезентация* производно от глагола: репрезентация — придание динамики рассматриваемому объекту, оживление его. Дополнительно к «отражению», репрезентация, по переносу, сама получает собственную динамику, поскольку может, например, смещать фокусы внимания, которыми «отражаемый» объект не обладает сам по себе: «Но человеческая ментальная репрезентация и язык как наиболее часто упоминаемая разновидность ее, как известно, переполнена постоянными изменениями перспективы, связанными с укрупнением или уменьшением, с постоянной перекадровкой, какой является “ментальная” репрезентация всех биологических организмов. Неужели человеческая когниция — в том числе, по Расселу, и человеческий язык — нелогична, противоречива, неадекватна задаче репрезентирования реальности?»⁵. Поэтому-то возможна динамичная репрезентация даже для застывших ситуаций, объектов: даже неподвижным сущностям в рамках динамичных репрезентаций может приписываться кипение страстей.

2. Входя в определение большого числа когнитивистских терминов, само понятие «репрезентация» так и не получило общепринятого определения. Так, до сих пор часто смешиваются представления о ментальных репрезентациях, с одной стороны (т. е. в сознании человека), и о языковых репрезентациях (т. е. репрезентациях, объективированных или объективируемых в языке) — с другой.

⁴ Ср.: «Representation of the inaccessible mobilizes the imagination, which transforms interdiction into a feeling of collectivity» [Iser 2006: 136].

⁵ «But human mental representation, and language as its most celebrated example, is notoriously replete with constant switching of perspective, with zooming in and out, with repeated acts of reframing, as is the ‘mental’ representation of all biological organisms. Is human cognition — and natural language, as Russell was inclined to suspect — illogical, contradictory, unequal to the task of representing reality?» [Givón 2005: 3].

Интересно, что не во всех даже больших словарях лингвистической терминологии можно увидеть определение термину *репрезентация*: это является симптомом того, что данное понятие или является «преднаучным», или должно — как и другие «общечеловеческие» понятия — трактоваться в рамках философии, а не теории языка. Так, в словаре [Kerstens, Ruys, Zwarts (eds.) 2001] этого термина нет в качестве заглавного, также как нет и терминов *когниция*, *знание* и т. п. Во многих словарях термины «репрезентация» и «репрезентировать» употребляются в толковании других понятий, но сами определения не получают: это также свидетельствует о «преднаучном» статусе данных терминов. Например, таково положение в книге [Finch 2005]: трактуя генеративистские концепции различных типов синтаксического, семантического, фонологического представления (или репрезентации), автор тщательно избегает говорить о том, что же такое репрезентация вообще. То же — в словаре [Davies 2005] и в справочнике [Davies, Elder (eds.) 2004]. Даже когда автор заявляет: «Моя цель — разработать адекватную репрезентацию для связности дискурса»⁶, — определения адекватной репрезентации мы не увидим.

Вот поэтому-то, под влиянием обыденного языка, исследователи постепенно «подправили» исходный взгляд на репрезентации, а именно, в следующих двух отношениях:

- В понимание термина «репрезентация» перестают вкладывать неременную презумпцию, что существует некоторый репрезентируемый объект, и не ожидают, что будет указано, что же именно репрезентируется, скажем, что «извлекается» (из памяти). Ведь для того, чтобы репрезентацию извлечь, она уже должна быть в памяти сформирована, что противоречит высказываниям типа: *Мысленно я представил(а) себе, что я скажу при встрече и Я и не мог(ла) представить себе, что он на это способен или Я не могу вообразить / представить себе, чтобы он захотел сделать X*, т. е. высказываниям, относящимся к тому, что происходит на наших глазах и к гипотетиче-

⁶ Ср.: Our first goal is to specify a descriptively adequate data structure for representing discourse coherence [Wolf, Gibson 2006].

ским ситуациям⁷. Таким образом, принимается, что репрезентации могут не только замещать объекты и процедуры действия, но и порождать их — как бы «строить из воздуха» объекты или же целые ситуации: то есть репрезентации теперь могут создавать фиктивные объекты, которые «как бы отражаются» этими репрезентациями.

- И наоборот, для формирования репрезентации становится необязательным, чтобы непосредственно перед мысленным взором исследователя отсутствовал «репрезентируемый», «замещаемый» объект. Так, когда во время эксперимента испытуемого просят закрыть глаза и описать, что он мысленно «видит» (предмет или ситуацию в целом), возникающая «репрезентация» не обязательно должна содержать какие-либо детали происходящего или быть его копией: она лишь в самых общих чертах «замещает» определенную целостность в нашем сознании.

3. Были еще и чисто научные — «концептуальные» — причины для снижения популярности когда-то очень популярного термина.

Во-первых, появились новые модели деятельности сознания (прежде всего, коннекционистские или модели PDP — параллельно распределенных процессов — при обработке данных, см. [Thagard 1996] и др.). Эти новые модели иногда отказываются полностью или частично от представления (господствовавшего ранее в когнитивизме) о мыслительной деятельности как деятельности символической, т. е. связанной с манипуляциями символами и, в частности, с репрезентациями как знаковыми образованиями.

Во-вторых, новые веяния в когнитивной науке (ср., например [Brooks 1991]), развитие «нейролингвистики» и биолингвистики вызвали острую критику «репрезентационализма» извне и изнутри когнитивизма (см., например [Кравченко 2006]). Эта критика — своеобразный научный ритуал прощания с идеей тривиализованной или нереализованной, не оправдавшей надежд. Такова обыч-

⁷ Ср. мнение, что высказывания о ментальных образах и тому подобном касаются единиц, которые существуют исключительно как ментальные репрезентации [Jackendoff 1993: 83]. То есть говоря о репрезентациях, мы опираемся на их ментальный, нематериальный характер.

ная горькая судьба «преднаучного» термина, обильно употребляемого в рамках определения других терминов, но не получающего достаточно четкого операционального определения в рамках своей «родной» дисциплины.

Если проследить судьбу этого понятия и «репрезентационализма» в самых общих чертах, можно отметить, что ослабление их позиций произошло начиная примерно с середины 1990-х гг., эти понятия стали употребляться все меньше, а затем и подверглись острой критике (ср., например, [Brooks 1991]) или же полному забвению. В русскоязычных исследованиях в это же время предпочитают пользоваться «родным» эквивалентом — термином *представление*: например, в прекрасной монографии [Рябцева 2005] в гл. X, посвященной лингвистическому моделированию естественного интеллекта и «представлению знаний» (как, впрочем, и в других местах книги), используется именно термин *представление* (знаний), притом в том же смысле, в каком термин *representation* «репрезентация» употребляется в англоязычной литературе.

Интересно, что в российских работах когнитивного направления подобное словоупотребление продолжается, а синонимами оказываются также и глаголы «представлять» и «репрезентировать», хотя зачастую и в значении, далеком от терминологического и вне прямой связи с понятием **ментальных репрезентаций**.

В современной литературе к тому же не всегда проводится разграничение между ментальными репрезентациями (в сознании) и «объективированными» (ментальными) репрезентациями **в языке**. Это смешение понятий может, в принципе, привести не только к неточному использованию соответствующих терминов, но и к смешению двух разных проблем — одной, касающейся вопроса о том, как мы видим мир и как этот мир отражен в существующих мнениях, знаниях и верованиях людей (т. е. в концептуальной системе как **осознаваемой части** нашего сознания), и как — в отличие от этого — **часть** названной концептуальной системы объективирована языком и представлена таким образом в форме языковых репрезентаций.

Между тем серьезных оснований для отказа от понятия ментальных репрезентаций, на наш взгляд, все же не существует. Более того. Принимая это понятие и подчеркивая его значимость во многих ментальных процессах, а также необходимость его дальнейшего

(в том числе и чисто экспериментального) исследования, мы полагаем, что оно по-прежнему должно входить в круг важнейших понятий когнитивной науки и когнитивной лингвистики. Нужно только попытаться еще раз дать ему рабочее определение.

В результате рассмотрения большого корпуса текстов, в которых упоминается или определяется данный термин, это рабочее определение может быть следующим.

У термина «репрезентация» есть прототипическое и переносное употребления.

(1) В прототипическом смысле репрезентация₁ — выражение на некотором метаязыке (не обязательно словесном), обладающем следующими свойствами:

- он по синтактике значительно проще языка-объекта и сводится, в идеале, к нескольким синтаксическим правилам;
- его выражения интерпретируются более или менее однозначно и лишены — по замыслу создателей этого метаязыка — идиоматичности.

(2) В непрототипическом смысле репрезентация₂ — то, как исследователь полагает, нечто отражено в репрезентации₁ (то есть в первом, типовом смысле) в сознании носителей языка-объекта.

Под этим углом зрения рассмотрим теперь вопрос о «репрезентации знаний». Как вытекает из основного определения, это формальное задание знаний в рамках системы знаний. Когда говорят, что некто «знает» некоторую репрезентацию некоторого знания, предполагают, что он обладает самим знанием. Так, утверждая, что некто знает таблицу умножения, мы хотим сказать, что он умеет умножать любые числа между собой, а потому обладает соответствующими вычислительными навыками и знаниями. Когда говорят, что некто знает правила грамматики, утверждают тем самым, что он знает язык. Обратное же неверно: сказать, что некто знает некоторый объект, — не то же, что сказать, он знает репрезентацию этого объекта. Так, можно сказать: «Вася знает русский язык, но ни одного правила русской грамматики сформулировать не может, даже не в состоянии провести школьный разбор по членам предложения; да что там — даже читать и писать толком не умеет».

Репрезентации знаний устроены таким образом, что позволяют чисто формальным, алгебраическим путем производить вычисления новых знаний на основе хранимых. Таков, например, формаль-

ный аппарат силлогизмов Аристотеля как своеобразных репрезентаций логического знания.

Итак, понятие репрезентации знания всегда включает как указание на отражение или отображение чего-либо (причем как во внешнем мире, так и — чаще всего — в сознании человека), так и на «выводимые» знания, порождаемые самой репрезентацией. В этом полный параллелизм с употреблением слова *репрезентация*, см. выше.

Все художественные произведения, создаваемые человеком на естественном языке, являются вербализующими репрезентациями вымышленного мира, первоначально возникающими в сознании автора произведения. При этом, поскольку репрезентации этого типа представляют фантазийный, не существующий в действительности мир, их можно считать созданными исключительно с помощью языковых процедур, т. е. с помощью операций над знаками соответствующего естественного языка. И в этом отношении художественные произведения напоминают прототипические репрезентации метаязыка.

Сегодня наиболее перспективно рассмотрение того, как (например, в трактовке Э. Бейтс) репрезентация задает процедуры действия, т. е. указывает на воспроизведение в сознании оперативного знания, — «знания, как», противопоставляемого знанию декларативному — «знанию, что». Причем в задачи психолога прежде всего входит исследование невербализованного знания (навыков, умения), а лингвиста интересует в первую очередь знание вербализованное, связанное с языком и — преимущественно — декларативное.

Утверждению понятия репрезентации в указанном выше смысле — и продолжающемуся его расширению — способствовали далее работы, касавшиеся репрезентаций в сознании человека самого языка. Здесь нельзя не указать на факт осознания исключительной важности языка и языковых данных для всей когнитивной науки. Поскольку мы уже неоднократно освещали этот вопрос в своих более ранних публикациях, см. подробнее [Кубрякова 1992; 1993; 1994; Кубрякова и др. 1996; Демьянков 1992; 1994; 1995; 2005], коснемся здесь его, для того чтобы показать саму логику обращения к понятию репрезентации уже в рамках когнитивной лингвистики как раздела когнитивной науки.

Естественно, что если когнитивная наука поставила своей основной целью исследование разума и интеллекта человека как системы, отвечающей за все виды его деятельности с информацией и обеспечивающей нормальное протекание разнообразных ментальных процессов (прежде всего, процессов мышления), а эта система понималась как охватывающая все когнитивные способности человека — внимание, восприятие, воображение и т. д. и т. п., то все эти когнитивные способности и оказались в поле зрения представителей новой когнитивной парадигмы знания. У истоков когнитивной науки, соответственно, и стояли в первую очередь психологи, издавна занимавшиеся указанными способностями. Но ведь и психологи признавали особое место способности говорить и понимать услышанное как когнитивных способностей: психологи издавна занимаются психологией речи. Рассмотрению подобных проблем, возникших уже при зарождении когнитивной науки, и была посвящена замечательная книга двух ведущих американских психологов — Джорджа Миллера и Филиппа Джонсон-Лэрда «Язык и восприятие» [Miller, Johnson-Laird 1974]. В этой книге авторы в рамках новых когнитивистских понятий проанализировали то, как в языке и в языковых значениях слов отражаются переработанные в психике человека итоги его познавательных процессов, результаты восприятия мира и т. п.

Эта книга стала образцом для подобных размышлений, по ней также можно составить общее представление о том, как репрезентирована в ментальности человека и сама система языка. Но специально этой масштабной проблемой авторы не занимались, и пионерским исследованием в данной области стала книга Н. Хомского о ментальных репрезентациях языковых данных [Chomsky 1980]. Посвященная вопросу о языковой способности (language faculty) и разъяснению понятия компетенции (competence) говорящих как **знания языка и знаний о языке**, она связала это понятие с интериоризованной системой ментальных репрезентаций — как врожденного (т. е. записанного в биопрограмме человека) источника сведений о языке. По мысли Н. Хомского, овладение языком и органами речи аналогично становлению и развитию у ребенка других его органов (дыхания, пищеварения, кровообращения и т. п.). Когнитивная способность речи создает необходимые предпосылки к говорению как «исполнению» (performance) языка. Не будь эта способ-

ность врожденной, нельзя было бы объяснить быстрого овладения системой языка на базе скудных данных, поступающих к ребенку в первые годы его «когнитивного роста».

К указанной концепции Н. Хомского, как известно, исследователи относятся по-разному. Однако все больше сторонников находит и идея о том, что любое знание существует в виде ментальных репрезентаций, и мысль о том, что язык формируется для объективации этих репрезентаций (конечно, уже связанных не только с репрезентациями собственно лингвистических сведений), что, далее, предопределяет пути становления языка.

Иными словами, постепенно завоевывает свои позиции тот взгляд, что до языка (в онтогенезе) у человека «предсуществует» некоторая **концептуальная система**; а язык как система знаков образуется на основе и во взаимодействии с этой предсуществующей и далее развивающейся системой.

В то же время, логично было бы, развивая эту идею, принять, что концептуальная система «предсуществует» не только языку, но и высказываниям о мире, соответствуя (каждый раз) определенному **конструированию** событий, ситуаций и положения дел в этом мире: «Мы не можем считать само собою разумеющимся, что областью единиц, к которым отсылает язык, является “реальный мир”», — указывает Р. Джекендофф. «Скорее, — продолжает он, — информацией, которую говорящие могут передавать друг другу, должна быть информация о конструировании внешнего мира, когда такое конструирование представляет собой результат взаимодействия между этим внешним миром и средствами, доступными для того, чтобы внутренне его репрезентировать». Иначе говоря, по мысли Джекендоффа, «люди обладают тем, о чем они могут говорить (things to talk about) только благодаря тому, что это [информация об этом] уже было ранее репрезентировано ментально» [Jackendoff 1993: 83].

Таким образом, гипотезу о предсуществующей в сознании человека особой концептуальной системы можно реинтерпретировать, опираясь на понятие ментальных репрезентаций.

Можно сделать еще один шаг в этом рассуждении и предположить, что концептуальная система одновременно и является репрезентирующей. Поскольку же концептуальная система человека постоянно, на всех стадиях познания и деятельности меняется, то меняется и совокупность мнений и знаний, которой располагает

индивид о действительном и возможном мире. Единицами системы знаний являются концепты (см. подробнее [Павиленис 1983: 107 и сл.; 279—280]). Поэтому концепты и концептуальные структуры иногда приравнивают ментальным репрезентациям, отражающим их смыслы.

С помощью этих положений можно объяснить следующие факты:

- концепты существуют в виде **целостных и гештальтных** единиц, не структурированных до своей **вербализации**; это является следствием их «существования» в виде ментальных репрезентаций (с присущими им свойствами целостности, как на то указывала еще Э. Бейтс, см. выше);
- из-за субъективности человеческого опыта концепты, «представленные» в сознании репрезентационно, не могут характеризоваться четкими и раз и навсегда заданными границами, что и объясняет далее
- возможность по-разному «объективировать» (т. е. вербализовать) концепты с помощью **разных** словесных форм.

Когда с течением времени концептуальная система все больше пополняется **вербализованными**, а следовательно, **знаковыми** единицами, у нее начинают проявляться все новые порождающие способности. Даже небольшое количество «исходных» концептов, нашедших в языке свою реализацию, получают возможность служить базой для формирования **новых** концептов. Последние возникают как результат манипулирования имеющимися в системе знаками в ходе операций, известных в семиотике как операции «знак за знак».

В итоге концептуальная система человека, соотносимая с системой естественного языка, содержит:

- «первичные» концепты, возникшие путем обобщения информации еще на довербальном уровне развития человека; это простейшие ментальные репрезентации, сложившиеся, в основном, в актах непосредственного восприятия мира, окружающего человека, и отражающие перцептуальный опыт этого человека; в формирующемся языке они вербализуются первыми;
- невербальные концепты, часть которых в естественном языке так и не реализуется (по-видимому, в силу неактуальности для говорящих);

— как «первичные», так и позднее вербализованные концепты, начинающие служить базой для образования новых концептуальных структур, соответствующих неким воображаемым, гипотетическим и/или абстрактным сущностям, созданным их языковыми (знаковыми) определениями, ср. [Павиленис 1983: особ. 101 и далее].

Как свидетельствует длительный опыт описания языковых явлений во всей их эмпирической неоднородности, теоретической лингвистике не удавалось и до сих пор не удастся уйти от вопроса о том, что же отражают в онтологии мира сами эти явления, т. е. вопроса о том, что же осмыслено и интерпретируется в языке из окружающей людей действительности. Эти извечные вопросы и составляют суть проблемы репрезентации мира, притом как в языке, так и в сознании говорящих на том или ином естественном языке.

Иначе говоря, и сегодня теоретической лингвистике не удастся уйти от вопросов о репрезентациях мира в ментальности говорящих. Причем лингвиста, как выясняется, должны интересовать не только вербальные репрезентации — это входит в наши служебные обязанности. Но оказывается, что даже невербальные репрезентации входят в сферу деятельности лингвиста, поскольку в невербальных (как и в вербальных) энграммах содержатся одновременно и знания языка, и знания мира как такового. Но с лингвистической точки зрения (понимаемой как точка зрения лингвиста, описывающего, прежде всего, язык и эмпирические данности языка) это значит, что лингвистам не удастся уйти и от семиотики, и от семиотических аспектов в рассмотрении указанной проблемы, а значит, и проблемы репрезентаций; репрезентация предполагает в первую очередь некое (вторичное) замещение чего-то чем-то другим. Но подобная заместительная функция репрезентации и делает ее **знаковым образованием**. Это позволяет предполагать далее и стоящие за ней **знаки разных типов**, т. е. позволяет говорить как об **иконических** репрезентациях (образных или *image-like* представлениях), с одной стороны, так и о символических (или принадлежащих царству знаков как таковых (*language-like*, в первую очередь) — с другой, в сознании человека.

На указанном разграничении и должны, по всей видимости, строиться предметные области двух дисциплин — нейронаук и когнитивной лингвистики, поскольку в задачу первых входит создание

моделей сознания (в их физиологическом — нейронном — устройстве и организации как строения мозга), а в задачу второй — соотнесение когнитивных и концептуальных структур знания с разнообразными воплощающими их содержание языковыми формами. В каждой из этих дисциплин проблема репрезентации ставится при этом по-разному и может, соответственно, получать разные решения. Это не исключает, конечно, и взаимовлияния моделей одной науки на модели другой, но, на наш взгляд, исключает подмену одних моделей другими: в частности, моделей, оправдываемых с физиологической точки зрения, моделями, согласующимися с функциональной оценкой происходящего и функциональным его рассмотрением. Это соображение и заставляет нас подходить с известной осторожностью к выдвигаемым в нейролингвистике и биоллингвистике гипотезам и моделям и оставлять за собой право выдвигать в когнитивно-дискурсивной парадигме свои собственные концепции и свои собственные — более согласующиеся с языковыми фактами и всей эмпирической данностью наблюдений за языком — модели, в частности, и свое понимание репрезентаций.

Закljučая наше сообщение, мы хотели бы отметить, что по-прежнему считаем актуальной проблемой современной КЛ вопрос о репрезентациях и **форме** их существования. Во-первых, мы полагаем, что репрезентации являются важной частью нашего сознания: они, в отличие от других ментальных образований, имеющих знаковую природу, **осознаваемы**, т. е. мы всегда, когда нам это кажется нужным, можем представить себе на внутреннем «экране» любой объект, любую ситуацию — как из числа реальных окружающих нас предметов или лиц, так и из числа воображаемых событий. Мы легко «прокручиваем» про себя любые «фильмы». Мы можем доказать это и экспериментально, прося испытуемых **вообразить** что-либо конкретное (опять-таки из любого множества предметов и ситуаций и опять-таки реальных и вымышленных) и затем **описать** результаты этого в виде «увиденного», причем увиденного при закрытых глазах! То, что мы «видим» на внутреннем экране, и есть ментальная репрезентация. Нет оснований сомневаться и в ее знаковом характере: она выступает как замещающая то, что просил экспериментатор.

Сказанное, однако, никак не означает, что нам ясна природа подобных репрезентаций, и дело занимающихся нейролингвисти-

кой установить, в какой именно чувственной ткани находят свое «воплощение» (embodiment) сами репрезентации. Как у каждого знакового образования и у ментальных репрезентаций должно быть свое тело, своя форма их материализации (в частности, например, некий участок мозга, который при этом активизируется; неясно, однако, насколько такая активизация отличается от активизации, фиксируемой при осуществлении иных ментальных процессов — мышления, восприятия, обдумывания речи и т. д.). Но эти исследования уже не составляют компетенции лингвиста, физиологическая сторона обсуждаемых проблем уже выходит за пределы его знаний.

Не менее важной кажется нам, во-вторых, и необходимость исследования ментальных репрезентаций и при изучении онтогенеза речи. Ведь, несомненно, существует в развитии ребенка такой его доречевой период, когда ребенок еще не говорит, но уже начинает понимать обращенную к нему речь и способен выполнить простейшие просьбы взрослых. Он может указывать на называемый взрослым предмет и/или дать его, он может принести что-то из соседней комнаты или начать готовиться к обозначаемому взрослым действию. В этот период когнитивное развитие ребенка явно опережает его речевое развитие. Но ни указания на предметы, ни выполнение перечисленных нами действий не могли бы осуществляться, если б у ребенка не были сформированы соответствующие ментальные репрезентации, предшествующие по своей сути формированию у детей идеальных сторон конвенциональных знаков. Возможно, таким образом, считать ментальные репрезентации либо дознаковыми (предзнаковыми) сущностями, либо знаковыми образованиями, стоящими ниже собственно (языковых) знаков по степени их конвенциональности. Так или иначе, но ментальные репрезентации, формирующиеся у детей, следует считать предшественниками подлинных знаков, а само первое открытие в овладении знаками, заключающееся у ребенка в понимании того, что у предметов есть имена, полагать связанным с формированием у него первых и простейших отражений окружающего его мира с первичными же репрезентациями его отдельных фрагментов.

И, наконец, в-третьих. Никто еще не опроверг главной гипотезы всей когнитивной науки: мышление лучше всего может быть понято в терминах репрезентационных структур, характеризующих разум человека, и тех процедур, которые касаются этих структур и с ними произ-

водятся [Thagard 1996: 10]. А поскольку репрезентации участвуют во многих других ментальных процессах — восприятии, воображении и т. п., их анализ должен быть продолжен.

ЛИТЕРАТУРЫ

- Бейтс 1984 — *Бейтс Э.* Интенции, конвенции и символы // Психолингвистика: Сб. ст. М.: Прогресс, 1984.
- Демьянков 1992 — *Демьянков В. З.* Когнитивизм, когниция, язык и лингвистическая теория // Язык и структуры представления знаний. М.: ИНИОН РАН, 1992.
- Демьянков 1994 — *Демьянков В. З.* Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // Вопросы языкознания. 1994. № 4.
- Демьянков 1995 — *Демьянков В. З.* Доминирующие лингвистические теории в конце XX века // Язык и наука конца 20 века. М.: Институт языкознания РАН, 1995.
- Демьянков 2005 — *Демьянков В. З.* Когниция и понимание текста // Вопросы когнитивной лингвистики. 2005. № 3.
- Кравченко 2006 — *Кравченко А. В.* Является ли язык репрезентационной системой? // *Studia Linguistica Cognitiva*. Методологические проблемы и перспективы. М.: Гнозис, 2006. Вып. 1. Язык и познание.
- Кубрякова 1992 — *Кубрякова Е. С.* Проблемы представления знаний в современной науке и роль лингвистики в решении этих проблем // Язык и структуры представления знаний. М.: ИНИОН РАН, 1992.
- Кубрякова 1993 — *Кубрякова Е. С.* Проблемы представления знаний в языке // Структура представления знаний в языке. М.: ИНИОН РАН, 1993.
- Кубрякова 1994 — *Кубрякова Е. С.* Начальные этапы становления когнитивизма. Лингвистика — психология — когнитивная наука // Вопросы языкознания. 1994. № 4.
- Кубрякова и др. 1996 — *Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г.* Краткий словарь когнитивных терминов. М.: Филол. ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова, 1996.
- Павиленис 1983 — *Павиленис Р. И.* Проблема смысла. М.: Мысль, 1983.
- Рябцева 2005 — *Рябцева Н. К.* Язык и естественный интеллект. М.: Academia, 2005.
- Brooks 1991 — *Brooks R. A.* Intelligence without Representation // *Artificial Intelligence*. Cambridge (Mass.), 1991. Vol. 47.

- Chomsky 1959 — *Chomsky N.* Review of: *B. F. Skinner* «Verbal Behavior» // *Language*. Baltimore. 1959. Vol. 35. № 1.
- Chomsky 1980 — *Chomsky N.* Rules and representations. N. Y.: Columbia University Press, 1980.
- Chomsky 2002 — *Chomsky N.* On Nature and Language. Cambridge University Press, 2002.
- Davies 2005 — *Davies A.* A Glossary of Applied Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005.
- Davies, Elder 2004 — *Davies A., Elder C.* (eds.). The Handbook of Applied Linguistics. London: Blackwell, 2004.
- Finch 2005 — *Finch G.* Key Concepts in Language and Linguistics. 1st ed-n. 2000; 2nd ed-n. 2005.
- Givón 2005 — *Givón T.* Context as Other Minds: The Pragmatics of Sociality, Cognition and Communication. Amsterdam; Philadelphia, 2005.
- Hellinger, Bußmann 2001 — *Hellinger M., Bußmann H.* Gender Across Languages: The Linguistic Representation Of Women And Men: Vol. 1. Amsterdam; Philadelphia: Benjamins, 2001.
- Iser 2006 — *Iser W.* How to do Theory. London: Blackwell, 2006.
- Jackendoff 1993 — *Jackendoff R.* Languages of the Mind: Essays on Mental Representation. Cambridge (Mass.): The MIT Press, 1993.
- Kerstens, Ruys, Zwarts 2001 — *Kerstens J., Ruys E., Zwarts J.* Lexicon of Linguistics. Utrecht: Utrecht University, 2001.
- Miller, Johnson-Laird 1974 — *Miller G. A., Johnson-Laird M.* Language and perception. Cambridge (Mass.): Harvard University Press; London: Cambr. University Press, 1974.
- Moore 1995 — *Moore R.* Logic and representation. Stanford (CA): Center for the Study of Language and Information, 1995.
- Schank, Kass 1988 — *Schank R., Kass A.* Knowledge Representation in People and Machines // *Meaning and Mental Representation* / Ed. by U. Eco, M. Santambrogio, P. Violi. Bloomington: Indiana University Press, 1988.
- Seuren 2004 — *Seuren P. A. M.* Chomsky's Minimalism. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Sperlich 2006 — *Sperlich W. B.* Noam Chomsky. London: Reaktion Books, 2006.
- Thagard 1996 — *Thagard P.* Mind. Introduction to Cognitive Science. Cambridge (Mass.): MIT, 1996.
- Wolf, Gibson 2006 — *Wolf F., Gibson E.* Coherence in Natural Language: Data Structures and Applications. Cambridge (Mass.): Harvard University Press; London: Cambr. University Press, 2006.

О ТЕРМИНЕ «ДИСКУРС» И СТОЯЩЕЙ ЗА НИМ СТРУКТУРЕ ЗНАНИЯ

Широкое распространение термина «дискурс» в современной лингвистике отнюдь не означает, что за ним уже закрепилось содержание, которое можно было бы считать общеупотребительным. В потоке работ, посвященных дискурсивной тематике, мы встречаемся с самыми разными истолкованиями термина, да и история его появления описывается в этих работах по-разному. Используясь к тому же в разных науках, он трактуется неоднозначно и здесь, и трудно сказать, связано ли такое положение дел с тем, что формирование термина еще не завершено, или с тем, что следование моде сопровождается размыванием его первоначальных содержательных границ. Во всяком случае, значения, приписываемые рассматриваемому термину, на первый взгляд кажутся достаточно пестрыми и даже не укладывающимися в единую систему. Мало что изменилось в этом отношении и с 1978 г., когда Т. М. Николаева указала в своем словаре терминов лингвистики текста, что «дискурс — многозначный термин..., употребляемый рядом авторов в значениях, почти омонимичных» [Николаева 1978: 467].

Посвящая эту небольшую работу о дискурсе замечательному ученому и прекрасному человеку, хотелось бы вернуться еще раз к рассмотрению тех структур знания, которые объективировались с помощью слова **дискурс** в последние десятилетия и получали свое обозначение с помощью этого слова, и сделать это для того, чтобы понять логику включения в семантическую структуру термина достаточно разных концептов и, по возможности, выделив важнейшие из них, показать существующие между ними отношения и связи.

Если уже и к концу 70-х гг. прошлого века термин объединял достаточно разнородные значения, то в дальнейшем содержание термина еще более усложнялось. Чтобы убедиться в этом, можно познакомиться с разъяснениями термина у В. З. Демьянкова [Демьянков 1982], который, по мнению Ю. С. Степанова, дал «лучшее до сих пор определение дискурса» [Степанов 1995,

38], у М. Стаббса, который выделил три главных характеристики дискурса — формальную, содержательную и организационную — и предложил подробное описание каждой из них [Stubbs 1983], или, наконец, уже в 90-х гг. у Ю. С. Степанова, М. Л. Макарова и др. Приведу в качестве примера лексикографического представления семантической структуры термина в конце 90-х гг. его описание у П. Серио, который выделяет у него восемь значений: 1) эквивалентности понятию «речь» (по Ф. де Соссюру) и любому конкретному высказыванию; 2) единицы, по размерам превосходящей фразу; 3) воздействия высказывания на его получателя с учетом ситуации высказывания; 4) беседы как основного типа высказывания; 5) речи с позиции говорящего в противоположность повествованию, которое не учитывает такой позиции; 6) употреблению единиц языка при их речевой актуализации; 7) социально или идеологически ограниченного типа высказывания, например феминистского дискурса; 8) теоретического конструкта, предназначенного для исследований условий производства текста [Серио 1999: 26—27].

Очевидно, однако, что в таком определении, построенном в сущности вокруг понятий о речи и высказывании, никак не указаны те свойства, которые помогли бы **отличить** дискурс от речи и тем более — отдельного высказывания, или же понять реальную суть того теоретического конструкта, который помог бы изучить условия создания текста и его воздействие.

Представляется, что сегодня понятие дискурса нуждается именно в том, чтобы перечислить его критериальные признаки, чтобы указать на то, что отличает его от тех понятий, несомненную близость с которыми он фактически разделяет, чтобы ясно очертить границы между дискурсивными и недискурсивными явлениями, а главное, чтобы объяснить, почему, действительно, «дискурс — это новая черта в облике языка, каким он предстал перед нами к концу XX века», как то совершенно правильно подчеркнул Ю. С. Степанов [Степанов 1995: 71].

Отталкиваясь от понимания дискурса именно как новой реальности языка и притом **высшей** его реальности, мы и хотим далее показать, потребностям в каком концепте отвечает изучаемый нами термин и по каким причинам в нем сочли возможным и целесообразным представить в **единой системе знаний** нечто принципиально новое. Естественно также, что, поставив эту задачу, мы

должны продемонстрировать не только **перечень** значений, образующих содержание термина, но и организующую их **сетку связей**. Хотя объединение значений (концептов) в одной семантической и когнитивной структуре и складывалось отчасти стихийно и заранее не могло бы быть предсказано, все же оно складывалось далеко не случайно. Не была, конечно, случайной и сама история формирования понятия дискурса, хотя находящиеся в нем сегодня отражение интеграционные познавательные процессы имели разные источники, которые могут быть связаны с разными школами и разными направлениями лингвистики во второй половине XX в.

Оставив следы своих принципов, предпочтений и достижений в содержании термина, они оказались представленными в нем в виде не столько абсолютно новых концептов по сравнению с теми, что уже были заложены этимологически в семантике слова, сколько в виде концептов, подвергшихся вполне понятным модификациям, уточнениям и развитию. Как у каждого термина, его значения были в конечном счете детерминированы значениями слова, к которому этот термин восходит, но одновременно и теми последующими импликациями и процессами семантического вывода (инференции), которые характеризовали его дальнейшее развитие и сыграли свою значительную роль в формировании термина как **многозначного**, термина, за которым сегодня, действительно, стоит сложная структура знаний. В основе термина — латинское слово *discursus*, которое означало ‘бегание туда и сюда’, откуда понятие круговорота, а позднее — значения ‘беседа’, ‘разговор’ и уточнение круговорота как круговорота речи. Итак, у истоков термина оказывается концепт **речь**, а поскольку и английское слово *discourse* и французское *discours* повторяют значения речи, беседы, а английский прибавляет к ним также значения лекции, проповеди, вполне мотивированным выступает, на наш взгляд, развитие у термина значения **форм общения**, притом с явным акцентом на формы общения **устного**. Указания же на беседу, разговор (конверсацию) — это предтечи развития не столько значения **обмена мнениями**, сколько **целеполагания**, исходящего от отправителя речи и **воздействия** на его адресата. Нельзя не отметить тоже, что и беседа, и все прочие перечисленные формы общения имплицитно имеют известную нейтральность термина по отношению к инициаторам общения: в их качестве могут выступать как группы людей, так и отдельно взятое лицо (лектор, пропо-

ведник), т. е. дискурс может объединять представления и о диалогической и о монологической речи.

Начало современному употреблению термина связывают обычно с именем З. Харриса, см., например, [Кибрик 2003: 12], т. е. с 1952 г. Но здесь лучше обратиться к рецензии на дискурсивные заметки Харриса, принадлежащие М. Бирвишу [Bierwisch 1963]. По его мнению, Харрис, выдвигая две задачи, стоящие перед дискурсивным анализом («продолжить дескриптивную лингвистику, выведя ее за пределы анализа отдельно взятого предложения» и соотнести между собой понятие языка и понятие культуры [Harris 1952]), и демонстрируя методику и практику его осуществления, все же оставил без дефиниции само понятие дискурса [Bierwisch 1963: 142]. Да и сведение текста / дискурса как связной последовательности предложений или высказываний к образующим их последовательностям морфем неудовлетворительно, т. к. не содержит упоминания о **структуре** подобной связности [Там же: 142 и сл.]. Примечательна в статье М. Бирвиша не столько критика взглядов З. Харриса на дискурсивный анализ с позиций трансформационной грамматики, сколько сама практика недифференцированного употребления терминов «дискурс» и «текст» для обозначения последовательностей, больших отдельно взятого предложения / высказывания (что, как мне кажется, должно исключить и в дальнейшем применение термина «дискурс» по отношению к **изолированному** высказыванию / предложению: естественный дискурс не может состоять из одного предложения).

С другой стороны, важно, что Бирвиш настаивает на том, что не всякая последовательность высказываний, а только последовательность, маркированная их связностью (Konnexität), может рассматриваться как дискурс. «Центральная проблема дискурсивного анализа становится очевидной, — утверждает М. Бирвиш, — когда рассматривают его (дискурса) возникновение, т. е. обращаются к синтаксическим структурам, организующим текст» [Bierwisch 1963: 151].

Статья Бирвиша важна для нас и потому, что она приходится на самое начало 60-х гг., свидетельствуя об интересе к дискурсу в лингвистике текста, часто трактовавшейся тогда как наука, создаваемая на стыке лингвистики и литературоведения (см. [Literaturwissenschaft und Linguistik 1963], где рецензия М. Бирвиша публикуется во 2-й главе, озаглавленной «К понятию текста» — Zum Textbegriff).

О том, что понятие дискурса уже становится хорошо известным и в ПЛК (Пражский лингвистический кружок), свидетельствует и незаслуженно у нас забытая статья одного из известных представителей ПЛК Карела Хаузенбласа. В знаменитом первом послевоенном выпуске трудов ПЛК 1964 г., вышедшем под названием «Пражская школа сегодня», статья Хаузенбласа («О характеристике и классификации дискурсов») занимает заметное место. Начиная свою статью с сожаления о том, что в лингвистике до сих пор отсутствует адекватная классификация того языкового материала, из которого черпаются сведения о языке, он отмечает, что далеко не все параметры, присущие этому материалу, уже получили свое описание и были учтены в предыдущих исследованиях. Наряду с реальным противопоставлением в этом материале — в этих дискурсах — устной и письменной речи или же функциональных разновидностей речи (описанных более всего в функциональной стилистике, которая в силу чисто прагматических потребностей не могла не отразить различий в разных стилях речи) необходимо, однако, разобраться и в других вариантах дискурса [Hausenblas 1964: 67 и сл.]. Его рассмотрение как особого языкового феномена требует, по крайней мере, проведения границ, с одной стороны, между свойствами дискурса и языковой системы, а с другой, ограничения понятия дискурса по сравнению с близкими ему феноменами. Особого внимания заслуживает, наконец, и проблема классификации дискурсов и нахождения тех критериев, которые помогут выделить наиболее релевантные черты в функциях и структуре дискурса. Ведь типы дискурса проявляют богатую дифференциацию (*very richly differentiated*) и тесно связаны с условиями его осуществления. Именно в дискурсе реализуются все средства языка, заложенные потенциально в его системе. «Под дискурсом, — пишет Хаузенблас, — мы имеем в виду набор упорядоченных языковых средств, использованных в отдельно взятом коммуникативном акте, происходящем между определенными участниками при определенных условиях (в данном окружении, как реакция на определенный стимул и с учетом конкретной цели)... Дискурс может рассматриваться и как процесс и как результат (фактически — как результат акта коммуникации)» [Hausenblas 1964: 70—71]. Будучи всегда связан с актом/актами коммуникации, он представляет собой единицу «использования языка в практике межличностного общения» [Там же].

Не могу не отметить, что, по сути дела, в статье предлагается целостная программа изучения форм и особенностей дискурса в функциональном и структурном планах, а приводимые им ссылки явно говорят о том, что в ПЛК уже складывалась особая концепция дискурса, в которую и тогда были включены представления, составляющие вплоть до настоящего времени ядро содержания термина «дискурс»: это концепты **использования** языка в конкретных **условиях** коммуникации, **выборочности** употребленных при этом языковых средств, **зависимости** от целей коммуникативного акта. В статье не просто перечислены критериальные признаки дискурса, но и намечено то его видение, что было характерно для раннего функционализма (и в ПЛК, и в отечественном языкознании).

Дальнейшую историю развития понятия дискурса в 80-е гг. связывают прежде всего с именем М. Фуко и его последователей (см. [Чернявская 2001: 11 и сл.]. Но пафос работ исследователей этой школы в обнаружении того, что за определенной совокупностью текстов (или даже — за отдельным текстом) стоят определенные общественно-исторически сложившиеся системы знаний и что дискурс является своеобразным языковым коррелятом такой системы. Дискурсивный анализ выступает поэтому как средство исторической и идеологической реконструкции «духа времени» (по образному выражению М. Фуко — «археологии знания»).

Аналогичные идеи можно, собственно, обнаружить и в классической работе П. Серио, который стал первым лингвистом, осуществившим в 1985 г. анализ советского политического дискурса в своей книге, подробно разобранный впоследствии Ю. С. Степановым [Степанов 1995: 38 и сл.].

Трудами этих исследователей было заложено особое направление дискурсивного анализа, отличного от того, что характеризовал англосаксонскую школу. Если последняя развивалась как ориентированная на более глубокое обоснование лингвистики текста и исследование текстовых особенностей и текстовых категорий в разного рода verbal messages и records (языковых сообщениях и их записях), то в работах М. Фуко, П. Серио, а позднее и ряда немецких исследователей акцент делался именно на реконструкцию по данным текста идеологических и прочих систем, стоявших за этими текстами. Подобная установка отразилась в термине «дискурс» как в виде указания на его существование в качестве «социальной данно-

сти», так и в методологическом требовании подходить к описанию дискурса как «погруженного в жизнь» и / или строящего по мере его развертывания особый «возможный мир».

О том, как были глубоки традиции такого подхода, свидетельствует характеристика дискурса, даваемая ему спустя три десятилетия в программной статье Ю. С. Степанова: «дискурс, — пишет он, — это первоначально особое использование языка... для выражения особой ментальности...; особое использование влечет активизацию некоторых черт языка и, в конечном счете, особую грамматику и особые правила лексики» [Степанов 1995: 38—39]. Очевидно вместе с тем, что и указание на особую ментальность, отражаемую и выражаемую в дискурсе, и указание на активизацию в дискурсе определенных черт языка, и последующие замечания Ю. С. Степанова о связи дискурса с культурой и созданием «возможных миров», а также на репрезентацию дискурсом «особой социальной данности», — все это итоги не только традиций, но и появления в теоретической лингвистике новых парадигм знания и выдвижения в них новых понятий, характеризующих бытие и функционирование (использование) языка. Хотелось бы поэтому подчеркнуть, что в содержании термина «дискурс» сегодня отражаются новые веяния в понимании языка, новые повороты в его исследовании и — безусловно — уже накопленный опыт анализа языка в новой системе координат. В этой системе свое подробное описание получали постепенно и ситуативные (прагматические) факторы речи (ср. [Макаров 1998: 68 и сл.]).

Можно с полным на то основанием утверждать также, что в трактовке указанных координат находили свое отражение не только позитивные установки новых парадигм знания (прежде всего — коммуникативной и когнитивной), но и критика, которой с позиций этих парадигм подвергались многие прежние устоявшиеся представления и о языке, и о том, как его надо изучать. См. [Николаева 2000: особ. 422 и сл.].

Иллюстрацией к этому положению может, с одной стороны, служить влияние, которое оказала на формирование дискурсивного направления и понимание дискурса прагматика и разные социопрагматические школы внутри лингвистики коммуникативной (см. [Цурикова 2002: 16 и сл.]). Изучение всех прагмалингвистических характеристик общения, столь типичное для исследования

дискурсивной деятельности в настоящее время, отразило стремление многих ученых дать подробное описание естественно протекающего процесса общения людей, отразить зависимость такого процесса от множества ситуативно обусловленных и социальных по своей сути характеристик. По мнению Н. Д. Арутюновой, дискурс — это «связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими и другими факторами... Дискурс — это речь, погруженная в жизнь» [Арутюнова 1990: 136—137]. Часто цитируемое, это определение дискурса открывает дорогу самым разным подходам к анализу дискурса, но здесь нам особенно важно подчеркнуть, что приход к такому определению дискурса означает не только вполне определенные конструктивные установки нескольких школ (их описание уже дано в упомянутых выше работах, и мы не будем повторять выводов этих исследований), но типичное для них критическое и скептическое отношение к попыткам исследования языка в его изоляции от жизни общества и вне зависимости от его реального функционирования для решения разных целей и задач. Отсюда отказ от следования принципам генеративной грамматики, от жесткого противопоставления компетенции и абстрактных знаний языка его реальному использованию. Признание принципа *competence to perform* как результат преодоления догм генеративизма было одновременно признанием необходимости анализа языка в широком диапазоне его реального существования — *language in action, language in function*. В каком-то смысле, однако, такие призывы стали звучать лишь после того, как вслед за периодом увлечения генеративизмом пришел этап его критического осмысления, этап понимания его ограниченности и неприятия виденья в нем задач теоретической лингвистики.

Вместе с тем и от генеративной грамматики было унаследовано нечто весьма существенное: интерес к созданию динамических моделей языка и к порождению речи, понимаемому уже не в метафорическом, а вполне реальном смысле. Отсюда не только попытки предложить разные модели речепроизводства или дать подробное описание последовательным этапам речепорождающего процесса и механизмам порождения речи (что нашло свой отклик и в начинающей свое развитие с середины 60-х гг. XX в. когнитивной науке) и не только постепенное осознание того факта, что у истоков порождения речи стоят прагматические операторы и сама языко-

вая личность говорящего, что тоже, конечно, очень важно. Не менее существенным нам представляется то обстоятельство, что непреходящей чертой динамических моделей языка оказалась необходимость описать **развертывание** речи. Понадобился термин, который отражал бы это новое понимание порождения речи — его зависимости не только от внутренних способностей говорящего и даже его индивидуальных интенций и целей, но и от разнообразных ситуаций речи с ее участниками и их реакциями на те или иные особенности общения и т. п.

Даже если оставить в стороне теорию речевых актов и начинающиеся в 70-х гг. исследования, касающиеся принципов речевого общения и т. п. (см. подробнее [Макаров 1998; Кубрякова 2000; Цурикова 2002; Карасик 2002 и др.]), а также исследования речевой деятельности в психолингвистике, можно сказать, что последние десятилетия прошлого века были ознаменованы поворотом к событийной стороне речевого общения, процессуальным аспектам актов коммуникации и т. п.

«Всякий акт употребления языка — будь то произведение высокой ценности или мимолетная реплика в диалоге — представляет собой частицу непрерывно движущегося потока человеческого опыта. В этом своем качестве, — пишет Б. М. Гаспаров, — он вбирает в себя и отражает в себе уникальное стечение обстоятельств, при которых и для которых он был создан» [Гаспаров 1996: 10]. Внимание к использованию языка, к употреблению его в разных целях и для решения самых разнообразных задач рождает в итоге еще одно важнейшее для понимания дискурса представление о развертывающемся во времени свободном потоке непрекращающейся коммуникативной активности человека. Конституирующей характеристикой дискурса становится приходящее из когнитивной лингвистики (*via* генеративную лингвистику) понятие **порождения речи on-line** — ее развертки в реальном времени (см. [Кубрякова 2000: 22]). Мы уже отметили в этой работе, что отсылка к реальному времени осуществления того или иного коммуникативного акта должна пониматься либо буквально — при анализе устной речи и возможности непосредственного наблюдения за ее протеканием, либо как указание на возможность рассмотрения любого речевого произведения и текста как бы **по ходу** его создания, т. е. при известной реконструкции **пошагового** порядка.

Концепт on-line предполагает, что дискурсивная деятельность может быть изучена по мере ее поступления (порождения) и что именно такое ее рассмотрение позволяет выявить и описать новые черты в речевой деятельности и, соответственно, обогатить наши представления не только о человеческой речи, но и о **роли языка в жизнедеятельности человека**.

Исследование дискурса все более приобретает, таким образом, вид описания языка в многомерном пространстве с подвижной сеткой координат, включающей параметр времени (ср. также [Дымарский 2001: 40]).

Эта тенденция отчетливо ощутима и в когнитивной лингвистике, где разрабатывались разные теории информационных потоков (см. [Кибрик 2003: 26 и сл.] и где уже нашли свой подробный анализ разнообразные связи языковых структур с когнитивными и, как мы уже указывали ранее, противопоставление явлений on-line и off-line. Четкое обоснование фундаментального отличия этих явлений друг от друга заключается в том, что «одни из них ответственны за использование языка в реальном времени», другие же «связаны с языком как средством хранения и упорядочения информации» [Кибрик 2003: 24 и сл.]. В первом случае наблюдается связь порождаемых в речи структур с оперативной памятью человека, с распределением и фокусировкой внимания, с состоянием человека в момент речи и текущим сознанием; во втором — языковые формы выступают как связанные с репрезентацией в сознании разных форматов знания, с организацией внутреннего (ментального) лексикона, с фиксацией в последнем результатов концептуализации и категоризации мира и сложившейся в мозгу человека языковой картиной мира.

Иногда утверждают, что в когнитивной лингвистике исследованию дискурса уделялось меньшее внимание по сравнению с другой разрабатываемой в ней тематикой. Вместе с тем нельзя не признать, что именно под ее влиянием рождалось убеждение в том, что «по самой своей сути дискурс — явление когнитивное, т. е. имеющее дело с передачей знаний, с оперированием знаниями особого рода и, главное, с **созданием новых знаний**» [Кубрякова 2000: 23]. Как бы ни определять дискурс — через речь, речевую деятельность или же использование языка и т. п. — очевидно, что все такие дефиниции все же должны быть дополнены и уточнены за счет введения в них сведений, которые, с одной стороны, свидетельствуют о линг-

вокультурологическом и социальном контексте подобного употребления, но которые, с другой стороны, связаны и с личностными свойствами участников дискурсивной деятельности, и в первую очередь его инициатора (его знаниями, верованиями, устремлениями, системой ценностей и конкретными его намерениями в акте коммуникации) и адресата, и которые, наконец, характеризуют изучаемый акт использования языка и его результаты в режиме текущего времени (on-line) и, конечно, в определенных временных интервалах (от и до). Можно определить дискурс и через понятие отдельного коммуникативного акта, который, протекая в определенных лингвокультурологических и социальных условиях и между определенными участниками, описывается во всем разнообразии этих условий и в реальной зависимости от них. Из такого определения логически следует, что типы дискурса могут характеризоваться и по разным каналам передачи информации, и по типам социальной активности его участников, и как реализации особых намерений этих участников, т. е. целеполагания и т. п. Явная адресатность дискурса (даже при условии его обращенности к идеальному адресату, о котором говорил П. Серио [Seriot 1985]) делает возможным связывать дискурсивную деятельность с ее воздействием (демонстрируя, например, при описании политического дискурса манипулирование сознанием человека и т. д.); мы полагаем, однако, что в дефиниции дискурса эта его сторона имплицитруется указанием на присутствие в нем концепта целеполагания. По всей видимости, под дискурсом могут иметься в виду (метонимически) и некоторые конвенционально устоявшиеся формы общения (разговор, беседа, обмены репликами в диалоге и т. д.), а также их результаты в виде текстов.

Упоминание последних требует в завершение статьи особого пояснения, касающегося реального соотношения дискурса и текста. Поскольку многие ученые уже отдали дань освещению этой проблемы (она обсуждалась практически во всех перечисленных нами работах, ср. также [Чернявская 2001: 15; Шейгал 2000: 8 и сл.; Дымарский 2001; ван Дейк 1989 и др.]), отметим здесь, что мы уже давно высказали об этом свое мнение, подчеркнув, что «под дискурсом следует иметь в виду именно когнитивный процесс, связанный с реальным речепроизводством, созданием речевого произведения, текст же является конечным результатом процесса речевой деятель-

ности, выливающимся в определенную законченную (и зафиксированную) форму» [Кубрякова, Александрова 1997: 16].

Вдобавок к сказанному хотелось бы сказать, что мы не готовы согласиться с тем, что «дискурс, в отличие от текста, не способен накапливать информацию» и что дискурс — это «лишь способ передачи информации, но не средство ее накопления и умножения» [Дымарский 2001: 44], хотя резоны такого противопоставления нам ясны. Во-первых, чем дольше длится дискурсивная деятельность (например, дебаты в парламенте), тем больший объем информации должен накопиться у слушающих (да и в любом типе дискурса информация постепенно накапливается). Во-вторых, все результаты дискурсивной деятельности, в которой мы так или иначе принимали участие, служили, разумеется, тоже «накоплению и умножению» информации. Просто зафиксированные в виде текстов результаты дискурса дают, несомненно, большую возможность познакомиться с той же информацией заново, возвращаясь к нужным местам текста и т. п. Но мысленно мы можем «прокручивать» в голове и запомнившиеся нам отрезки речи. Вопрос о предназначении дискурса в отличие от предназначения текста — это тем не менее достойный обсуждения вопрос, и сама деятельность с информацией приобретает в них, действительно, разную форму.

Нельзя забывать и о том, что понятие дискурса складывалось и в лингвистике текста и что область дискурсивного анализа, первоначально совпадавшая с областью анализа готовых текстов, постепенно обособлялась в нечто самостоятельное. Но последнее стало возможным лишь с развитием у термина дискурс нового и весьма специфичного значения (см., например, уже упоминавшуюся работу А. А. Кибрика; см. также [Finch 2000: 219 и сл.]).

Завершая эту статью, хотелось бы подчеркнуть, что мы отнюдь не ставим своей целью предложить окончательную формулировку проанализированного нами термина, хотя, конечно, и не приветствуем такого положения дел, когда этим термином называют любые отрезки связной речи от высказывания до самых протяженных единиц или же когда любой функциональной стиль речи именуют дискурсом. Но что, действительно, в лингвистике начала XXI в. выявилась необходимость обозначить новую реальность языка — реальность очень сложную и очень богатую по своему содержанию — нам кажется несомненным. За термином «дискурс»

сегодня стоит такая разветвленная структура знания, неизменными компонентами которой уже являются знания о речи и речевой деятельности, о том, что ее источником могут являться и одно лицо, и два, и еще гораздо большее количество участников, что она может и должна рассматриваться во всех социо-, культурно- и личностно-обусловленных прагматических условиях ее порождения, по ходу ее протекания, проявляя зависимость от указанных факторов, а также, что по мере осуществления речи строится за счет определенным образом выбираемых языковых средств новая данность, выражающая интенции ее отправителя и оказывающая воздействие на других участников коммуникативного акта, а также отражающая и порождающая особый мир (ментальное образование), могущий быть репрезентированным в виде текста.

Конечно, понятие дискурса еще будет уточняться и совершенствоваться. Но и сегодня ясно, что познание новой реальности языка, обозначенной рассмотренным нами термином, как и познание намеченных в содержании термина отдельных его аспектов, обещает раскрыть нам немало интересных черт в поведении языка и его использовании, а значит, расширить наши представления о его природе и роли для человека.

ЛИТЕРАТУРА

- Арутюнова 1990 — *Арутюнова Н. Д.* Дискурс // Лингвистическая энциклопедия. М., 1990. С. 136—137.
- Гуреев 2002 — *Гуреев В. А.* Британская грамматическая традиция // Изв. РАН. СЛЯ. Т. 61. № 3. 2002. С. 37—48.
- Демьянков 1982 — *Демьянков В. З.* Англо-русские термины по прикладной лингвистике и автоматической переработке текста. Вып. 2 // Всесоюзный центр переводов: Тетради новых терминов, 39. М., 1982.
- ван Дейк 1989 — *ван Дейк Т. А.* Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.
- Дымарский 2001 — *Дымарский М. Я.* Проблемы текстообразования и художественный текст: На материале русской прозы XIX—XX вв. М., 2001.

- Карасик 2002 — *Карасик В. И.* Языковой круг: личность, концепт, дискурс. Волгоград, 2002.
- Кибрик 2003 — *Кибрик А. А.* Анализ дискурса в когнитивной перспективе. Дис. ... докт. филол. наук. М., 2003.
- Кубрякова 2000 — *Кубрякова Е. С.* О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике (Обзор) // Дискурс, речь, речевая деятельность: Функциональные и структурные аспекты. М., 2000.
- Кубрякова, Александрова 1997 — *Кубрякова Е. С., Александрова О. В.* Виды пространств текста и дискурса // Категоризация мира: пространство и время. М., 1997.
- Кубрякова, Александрова 1999 — *Кубрякова Е. С., Александрова О. В.* О контурах новой парадигмы знания в лингвистике // Структура и семантика художественного текста. Доклады VII Международной конференции. М., 1999. С. 186—197.
- Николаева 1978 — *Николаева Т. М.* Краткий словарь терминов лингвистики текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. М., 1978.
- Николаева 2000 — *Николаева Т. М.* От звука к тексту. М., 2000.
- Макаров 1998 — *Макаров М. Л.* Интерпретативный анализ дискурса в малой группе. Тверь, 1998.
- Серио 1999 — *Серио П.* Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. М., 1999. С. 14—53.
- Степанов 1995 — *Степанов Ю. С.* Альтернативный мир. Дискурс. Факт и принцип причинности // Язык и наука конца 20 века. М., 1995. С. 35—73.
- Чернявская 2001 — *Чернявская В. Е.* Дискурс как объект лингвистических исследований // Текст и дискурс: Проблемы экономического дискурса. СПб., 2001. С. 11—22.
- Цурикова 2002 — *Цурикова Л. В.* Проблема естественности дискурса в межкультурной коммуникации. Воронеж, 2002.
- Шейгал 2000 — *Шейгал Е. И.* Семиотика политического дискурса. Волгоград, 2000.
- Bierwisch 1963 — *Bierwisch M.* Rezension: *Z. S. Harris. Discourse Analysis Reprints* // *Literaturwissenschaft und Linguistik. Ergebnisse und Perspektiven.* Den Haag: Mouton, 1963. P. 141—154.
- Finch 2000 — *Finch Geoffrey.* Linguistic Terms and Concepts. London, 2000.
- Harris 1952 — *Harris Z. S.* Discourse analysis // *Language.* Vol. 28. 1952. № 1. P. 1—30.

Hausenblas 1964 — *Hausenblas K.* On the Characterization and Classification of Discourses // *Travaux linguistique de Prague*, 1. L'école de Prague d'aujourd'hui. Prague, 1964. S. 67—84.

Stubbs 1983 — *Stubbs M.* Discourse analysis: The sociolinguistic analysis of natural language. Oxford, 1983.

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ДРАМЫ (НОВОЕ В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА ПЬЕС)*

Настоящая публикация представляет собой расширенную версию доклада о драматургических произведениях, прочитанного мной на тамбовской конференции «Филология и культура» осенью 2009 года. Предлагаемая статья стала своеобразным итогом размышлений над проблемами ряда когнитивно-дискурсивных особенностей англосаксонской драмы, которые были выделены как в моем докладе, так и в выступлении Н. Ю. Петровой, посвятившей этой тематике проводимое под моим руководством докторское диссертационное исследование. Пользуясь случаем, благодарю Н. Н. Болдырева, с которым мы задумали и вместе обсудили те новые идеи, которые касаются понятия форматов знания (см. более подробно [Кубрякова 2008а; 2008б; Болдырев 2006; 2008; 2009]; см. также [Кубрякова, Александрова 2008]).

Е. С. Кубрякова

* * *

Здесь, как показывает заглавие статьи, нами впервые рассматривается новый материал, который практически не привлекал к себе вплоть до недавнего времени должного внимания и тем более оставался вне поля зрения когнитологов. Развивая идеи, уже получившие освещение в ряде наших последних публикаций (см. выше), мы бы хотели отметить, что в отличие от предыдущих работ, в данной статье мы останавливаемся на лингвокультурологических аспектах анализа драматургических произведений и в то же время осуществляем сам анализ с позиций когнитивно-дискурсивной парадигмы лингвистического знания. Этим и объясняется тот факт, что все наше исследование носит междисциплинарный характер. Иначе говоря, расширяя объяснительную базу исследования, мы считаем

* Статья написана в соавторстве с Н. Ю. Петровой.

необходимым учитывать в нем сведения из таких областей знания, как литературоведение и театроведение. Таким образом, основывая весь анализ на **чисто языковых** данных, мы стремимся одновременно показать, что их интерпретация в когнитивно-дискурсивном ключе помогает пролить свет на целый ряд новых моментов в архитектонике драматургических произведений, а также выявить их **культурологическую значимость**, выйдя тем самым за пределы лингвистики как таковой.

Подобный подход, как нам представляется, хорошо согласуется с установками когнитивно-дискурсивной парадигмы, в рамках которой работают многие из нас и которая не только распространяется у нас в стране на новые объекты, но и вовлекает в результаты исследования все большее число разных научных дисциплин. Органичным и естественным нам кажется также сочетать в изучении драматургических произведений и собственно лингвистический анализ с **культурологическим**.

Иногда утверждают, что язык и культура должны быть противопоставлены, якобы как обладающие разными семиотическими кодами (ср. [Степанов 1974; Телия 2006]). Однако подобное утверждение может быть принято лишь с известными оговорками. С одной стороны, вряд ли вообще можно говорить о наличии у культуры своего особого **единого** семиотического кода: символика разных искусств (архитектуры, живописи и т. д.) явно различна, но абсолютно все, что объединяется под ее названием, описывается с помощью языка. С другой стороны, если в качестве метаязыка описания любых семиотических кодов выступает естественный язык, то, может быть, целесообразно говорить о нем как системе знаков высшего порядка и по отношению к культуре. Наконец, нет и не может быть таких языковых явлений, которые не носили бы прямых или косвенных отпечатков той культуры, в которой они были некогда созданы.

Любое крупное произведение художественной литературы оказывается одновременно и памятником **языка**, и памятником культуры. Становясь достоянием общественности, они приобретают статус **знакового события** и для того, и для другого — и тоже одновременно — отражают, с одной стороны, определенный этап в развитии языка и культуры, а с другой, — оказываются некой **порождающей средой** для появления и в языке, и в культуре их дальнейших

преобразований. Сказанное относится, разумеется, и к драматургическим произведениям. Достаточно вспомнить в этой связи о том резонансе, который вызвали в обществе первые постановки пьес Шекспира и Уайльда, Мольера и Расина, Грибоедова и Островского.

В условиях, когда еще не было ни кино, ни телевидения, сценическое воплощение замыслов великих драматургов, как, впрочем и появление такого феномена, как народный театр, их значимость была особо ощутимой и заметной. Как невозможно, например, охарактеризовать и описать эллинскую культуру без такого ее важнейшего звена, как греческий театр, так невозможно представить себе историю развития греческого языка, минуя данные о нем, почерпнутые из произведений великих греческих драматургов. Не говоря уже о том, что каждое из этих произведений отражало по своему содержанию те социальные запросы общества, с которыми оно сталкивалось в определенное время. В этой связи нельзя не согласиться с Ортега-и-Гассетом: жанры (в нашем случае, драматический) — это «эстетические темы», так называемые «широкие углы зрения», в рамках которых представлены важнейшие аспекты человеческого бытия. Таким образом, «каждая эпоха привносит с собой свое истолкование человека, принципиально отличное от предыдущего. Вернее, не привносит с собой, а сама есть такое истолкование. Вот почему у каждой эпохи — свой излюбленный жанр» [Ортега-и-Гассет 1974: 173—174]; см. также [Степанов 2007].

В Древней Греции таким жанром, несомненно, была драма. Филологи-классицисты и переводчики античных текстов (В. Н. Ярхо, С. К. Апт и др.) отмечают: с расстояния в две тысячи лет поразительным кажется размах театрально-сценического искусства, искусства чрезвычайно «гражданственного» и «тенденциозного», в Древних Афинах, где «театр Диониса вмещал семнадцать тысяч зрителей — столько людей, сколько сегодня средней руки стадион, почти все взрослое население тогдашних Афин. Никакой оратор, никакая рукопись не могли рассчитывать на такое количество слушателей и читателей» [Апт 1970: 11]. Воспитательно-просветительную роль античной драмы подтверждает тот факт, что для беднейшего населения был введен «теорикон» (в переводе: «зрелищные деньги») как эквивалент государственного пособия на оплату театральных мест. Для привлечения внимания зрителей и усиления зрелищности уже тогда использовались театральные машины.

Важно отметить, что драматургические произведения опережали развитие других жанров литературной прозы. Более того, именно драма — древнегреческие античные трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида и комедии Аристофана и Менандра, «инсценировки» эпоса Древней Индии — представляла собой **первый в истории** мировой художественной культуры сценический жанр, «который был вместе с тем оформлен письменно и осознан в качестве формы литературной» [Хализев 1986: 57]. Как указывает В. Е. Хализев, «последующая судьба европейского театрально-драматического искусства во многом определяется синтезированием творческих принципов драматургии, разработанных древними греками и традиций народного комедийно-фарсового сценического искусства»; при этом собственно драма восходит не только «к обрядовым действиям, но и к сложной совокупности художественных и внехудожественных фактов раннего исторического бытия» [Хализев 1986: 58]. И хотя благодаря книгопечатанию европейский читатель открыл великих древнегреческих драматургов в конце XV — начале XVI в. (а Менандра лишь в 1906 и 1956 г., когда были найдены его рукописи), драма оставалась самым востребованным жанром вплоть до XVIII—XIX вв., уступив позже место лишь роману.

В процессе исторического развития трансформировались как структурный, так и содержательный аспекты древнегреческой драмы, при этом каждому историческому этапу, естественно, были присущи ее особые виды. **Канон построения и организации** драмы восходит к аристотелевской «Поэтике» (335 г. до н. э.), где сформулированы три классические правила построения драмы — единство времени, места и действия. **Событийный канон** обычно представлен центральным конфликтом-спором двух главных героев (ср. *агон*, т. е. «спор»), в котором безошибочно угадываются элементы того, что в современные дни принято называть аргументативным (или персуазивным) дискурсом. По своей **структуре** античная драма основывается на принципе **симметрии** — «краеугольном камне» древнегреческого искусства, принимающем в строении сюжетов иконическую форму равнобедренного треугольника (ср. *развитие* — *кульминация* — *спад*). Симметрично организованы и сами вокальные и декламационные партии: строфы противопоставлены антистрофам, оды — антодам, а сам хор в комедиях состоит из двадцати четырех лиц и делится на два полухория и т. д. [Ярхо 1974: 9]. Классическая

разбивка текста на *эписодии* (эпизоды) уже у Менандра, а далее — и у древнеримских драматургов Плавта, Теренция и Сенеки эволюционирует в то, что принято считать современной нормой деления драматического текста, а именно — в действия и сцены.

Интересно, что уже в античной драме происходит размежевание текстов по адресатам — постановщику и зрителям (см. подробнее ниже). Об этом свидетельствует наличие не только основного корпуса текста, который разыгрывается актерами для зрителей, но и достаточно большое разнообразие малых «текстов в тексте», или сценических ремарок для постановщика, в которых автор дает комментарий по поводу визуального кода и/или особенностей речевого исполнения реплик героями: *про себя, в сторону, к зрителям*. Использование ремарки *к зрителям* было нередко продиктовано теми особыми задачами, которые стояли перед хором — самым древним, архаичным ядром драмы, в отличие от современных пьес непременно присутствовавшим в пьесах как в самом действии, так и за его пределами. В греческих пьесах хор выполнял обрамляющую функцию (ср. *парод* и *эксод*, т. е. «выход» и «уход»), а подчас становился самым действующим лицом. Последнее нашло свою реализацию в отдельном блоке пьесы (ср. *парабаса*; буквально «отступление»), где хор, прерывая зрелище, напрямую обращается к зрителям — отсюда и ремарка *к зрителям*. Данная техника позже широко используется многими английскими драматургами, например, Р. Шериданом.

Далее, греко-романский сюжетный архетип лег в основу и шекспировских трагедий, которые построены во многом с учетом некоего онтологического принципа упорядочивания событийных рядов, а именно «порядок» — «хаос» — «порядок». У Шекспира данная конструкция также носит иконический характер. Ее обязательными компонентами являются 1) исходный порядок (равновесие, гармония); 2) его нарушение; 3) его восстановление, а порой и упрочение [Хализев 1986: 131]. В XIX в. исследование древнегреческого и шекспировского канонов позволило немецкому писателю, драматургу и критику Г. Фрейтагу (Gustav Freytag) разработать свою «Технику драмы» («Technik des Dramas»), где центральная идея симметрии нашла выражение в так называемом фрейтагском равнобедренном треугольнике. См. более подробно [Кухаренко 1988; URL: <http://oak.cats.ohiou.edu/~hartleyg/250/freytag.html>].

Итак, важнейшим аспектом в изучении драматургических произведений является их лингвокультурологический анализ. При этом внимательный читатель легко увидит, что по ходу изложения нами были выделены многие важные моменты, которые касаются канонов, восходящих к античной традиции. В то же время релевантность предлагаемого нами анализа заключается не только в определении экспрессивно-эстетической ценности пьес или особенностей их языка, а также не только в отражении творческих замыслов их создателей или установлении места последних в их биографии. Оказываясь объектом когнитивно-дискурсивного анализа (в дальнейшем он ради простоты изложения именуется «когнитивным»), указанные произведения должны рассматриваться прежде всего по тому, как рисуется в них **опыт человека** по познанию мира и какой именно фрагмент этого опыта — реальный или вымышленный — в них воссоздается и интерпретируется.

Являя собой трагедию, комедию и т. д., каждая пьеса оказывается совокупностью знаний и мнений, суждений и оценок, относящихся к изображаемому на сцене событию, а значит, и к взаимодействию между людьми и отношениям между ними, и к осмыслению определенных сторон человеческого бытия — во всяком случае в том виде, в каком оно представляется действующим лицам самой пьесы и как оно ими «сконструировано». Однако отвечая на все поставленные вопросы, мы должны осознавать, что все подобные разъяснения мы можем получить, обращаясь непосредственно к **языку пьес**. Язык пьес важен для нас хотя бы потому, что в некоторых случаях он становился речевой нормой общенационального языка. Например, в Москве во многом такую роль играл Малый театр, который, по свидетельству современников, пользовался непререкаемым речевым авторитетом во второй половине XIX века. Для филологов, изучающих тексты, важно и то, что сейчас «Малый театр той эпохи ассоциируется не столько с именами знаменитых актеров тех лет, сколько с именем его ведущего драматурга А. Н. Островского», т. е. с текстами пьес [Алпатов 2007: 47].

Исследуя язык драмы, мы, конечно, основываемся отнюдь не на процедурах традиционного анализа, сводившегося ранее к изучению формальных особенностей речи героев. Предлагаемая нами далее особая **версия когнитивного анализа** ставит своей целью рассмотреть, как именно и с помощью каких языковых средств

в пьесе **конструируется тот фрагмент мира**, который (должен быть) представлен на сцене в виде особого зрелища и **воплощен** — по воле его автора — в качестве **театральной постановки**. Как нам представляется, именно в общем ответе на поставленный вопрос и заключается то новое в понимании драматургического произведения, что мы хотим осветить в настоящей статье. По нашему мнению, все то, что дано в пьесе, не просто репрезентировано в языковой форме, но и представлено ею так, чтобы **показать, продемонстрировать *language in action, language in function***.

Забегая вперед, необходимо подчеркнуть уже здесь, что сделать это простым описанием — линейным, плоскостным, а потому и лишенным объема — попросту невозможно. Это и почувствовали впервые великие драматурги прошлого. Не случайно поэтому, что, стремясь **воплотить** на сцене определенное событие, они пытались не столько описать, сколько **воссоздать**, то есть **воспроизвести** его для зрителя как особый фрагмент жизни. Репрезентирует ли при этом данное произведение ее произнесение хором или же речью отдельных персонажей пьесы, все равно текст пьесы должен быть **озвученным**, а значит, — с современной точки зрения — воспроизводить на сцене живое общение людей. Поскольку подобное общение выступает здесь, действительно, как преследующее определенные цели и происходит на глазах у зрителей, в режиме *online*, а также удовлетворяя известным хронотопическим условиям, оно по праву может рассматриваться как демонстрирующее осуществление **дискурсивной деятельности**.

Иначе говоря, любое драматургическое произведение как предназначенное для передачи определенного содержания, воплощает свой замысел прежде всего в виде игры актеров, озвучивающих тот или иной текст — фрагмент дискурса как речемыслительной деятельности, «погруженной в жизнь», ср. [Арутюнова 1990], или как деятельности языка, происходящей в определенных прагматических условиях, а также требующей описания в достаточно сложной системе координат и т. д. и т. п. [Кубрякова 2005; Демьянков 2005]. Наиболее адекватным и неслучайно признаваемым едва ли не большинством современных исследователей у нас в стране оказывается именно такое определение дискурса. Более того, сегодня мы хотим показать, что в когнитивном анализе дискурсивной деятельности нельзя обойтись без обращения к материалам драматургии.

ческих произведений как фиксирующих те самые существенные, самые главные черты дискурса как такового, а именно — его ситуативную обусловленность, его зависимость от конкретных целей и задач всего произведения в целом, его ингерентную связь со всеми участниками самого дискурсивного события, их статусом и т. п. Все эти черты и подлежат **реконструкции и восстановлению** по мере проведения лингвистического анализа **текстов** отдельных драматургических произведений и при условии рассмотрения этих текстов как особых **форматов знания**. Процедуры такого анализа разъясняются нами далее.

Хотя в когнитивном анализе термин «формат знания» и получил широкое распространение, дефиниции его в специальной литературе практически отсутствуют. Между тем причины его появления достаточно просты. Когнитологам явно пришлось столкнуться с необходимостью обозначить им общее родовое понятие для **разных структур представления** знания, отличающихся друг от друга, во-первых, своей величиной (или, скорее, объемом), во-вторых, четкой структурированностью (то есть наличием в каждом отдельном формате определенного числа его составляющих, упорядоченных по своему расположению), в-третьих, повторяемостью указанных составляющих в определенном порядке и, наконец, целеполаганием как предназначенностью для решения и/или описания некой целостной совокупности знания. В принципе каждый отдельный формат знания служит характеристике особого упорядоченного либо онтологически, либо гносеологически обоснованного **набора** сведений об объекте. В качестве одного из первых из выделенных форматов знания были **фреймы**, но когда обнаружилось, что в определенном отношении они демонстрируют черты сходства и с таким, например, объединением единиц, как **категория**, некоторые ученые стали использовать применительно к ним и более общий термин, то есть термин «формат знания». Далее мы посчитали возможным распространить этот термин и на представление о канонической форме организации любого сложного объекта.

Естественно, что подобное представление имеет смысл в тех случаях, когда устройство описываемого объекта, демонстрируя его явную сложность и нелинейность, сводимо тем не менее к лежащей в его основе и повторяющейся схеме. Эта схема позволяет упростить дальнейшее описание объекта и, представив его состав-

ляющие и их расположение относительно друг друга, предложить некую модель объекта как такового. Первоначальной моделью формата знания, стоящего за драматургическим произведением, явилось простое плоскостное изображение последовательных пластов текстов, сменяющихся друг за другом в развертывании всего полного текста в целом, ср. [Кубрякова 2008].

Совершенно очевидным становилось при этом, с одной стороны, противопоставление того текста, в котором разворачивалось описание **сюжета**, всем другим сопутствующим этому описанию текстам (названию пьесы, списку ее действующих лиц и т. п.). С другой стороны, бросалась в глаза и известная выделенность отдельных частей пьесы, относящаяся главным образом к их **объему**. В то время как основной корпус текста занимал в **полном** тексте всей пьесы самое большое по своей протяженности место, остающиеся его части можно было квалифицировать как **малые** (о малоформатных текстах (см., например [Петрова 2005]), то есть либо как небольшие по своей величине, либо как просто **краткие**. Так, краткими являются названия пьес и отдельные междуперсонажные ремарки. Тестами же малоформатными оказываются списки действующих лиц и сами сценические ремарки. Переходя к более детальной характеристике каждого из выделенных нами текстов, напомним, что сами эти характеристики выводятся непосредственно из языковых данных, то есть являются **инферентными** знаниями, полученными в ходе осуществления **лингвистического** анализа, направленного на уточнение их **содержания** и **функций**.

Так как репрезентации живого общения людей в виде основного корпуса текста пьесы предшествуют разные типы текстов (название пьесы и список ее действующих лиц и т. д.), полный текст пьесы мы сочли целесообразным интерпретировать как совокупность определенных «текстов в тексте», различая их прежде всего по типам их **адресатов**. Так, если название пьесы предназначалось явно и зрителям пьесы, и ее постановщику, то список героев пьесы служил прежде всего указанием для ее постановщика; он помогал последнему выбрать актеров в соответствии с их обычными амплуа и определить их состав. Этой же цели соответствовали в общем и помещаемые после списка действующих лиц указания, адресованные режиссеру пьесы, касающиеся места и времени происходящего на сцене действия. Эти указания, имену-

емые драматургами и в театральном искусстве **сценическими ремарками**, непременно выделялись в общем тексте пьесы графически, т. е. курсивом, отбивкой и т. д., регламентируемыми при публикации текста редактором, см. [Реформатский 1933]; все это, безусловно, подчеркивало их формальное своеобразие. Но выделялись они и чисто лингвистически, объективируясь в основном короткими, лаконичными бытийными предложениями. Так они описывали декорации, призванные служить изображению определенного сценического пространства, в котором и должны были передвигаться актеры.

Поскольку действия, разворачивающиеся на сцене, могли далее происходить в разных условиях и, соответственно, в разных декорациях, для обозначения отдельных описаний подобных сценических ремарок мы ввели наименование **сэттингов**. Данные интродуктивные ремарки вклинивались в надлежащие места текста пьесы, предваряя перестановку декораций и маркируя тем самым начало нового действия (глобальные сэттинги) или нового акта (локальные сэттинги) пьесы. При этом оформление сцены, расстановка бутафории являлись своеобразными способами восстановления «естественности» ситуации и создания непринужденности в передвижении актеров по сцене. В целом же сэттинги демонстрируют согласование всех элементов декора сценического пространства с внешним обликом героев, их историческими костюмами, теми или иными деталями обстановки. Таким образом, иерархически фрейм сэттинга строится по линии **эпоха → стиль → декорации / костюмы** тех или иных героев. Факультативную роль здесь играют такие слоты, как музыкальное сопровождение, особенности освещения, специальные эффекты и т. д.

С когнитивной точки зрения сэттинги, безусловно, демонстрируют эффекты перцептуального противопоставления фона и фигуры (*foregrounding* и *backgrounding*) и в этом смысле изоморфны созданию способов **фокусировки** событий. Но превыше всего — **восполнение** недостающих звеньев ведущегося дискурса и условий его проведения. Здесь имеются ввиду факторы а) близости или удаленности героев, при которой пространственная дистанция выступает как маркер / показатель психологической близости или ее навязывания; б) официальности или неофициальности отношений героев и т. д. Так, «Школа злословия» Р. Шеридана [Sheridan 1906] начина-

ется с сэттинга, имплицитующего неофициальные отношения двух действующих лиц:

LADY SNEERWELL'S *House*.

Discovered LADY SNERWELL *at her dres-sing table*;
SNAKE *drinking chocolate*. (ACT I/Scene 1)

После открытия занавеса зрителям становится очевидно, что они находятся в будуаре леди Снiruэлл: сама хозяйка прихорашивается у зеркала, а ее гость Снейк пьет горячий шоколад, в прямом и метафорическом смысле «смакуя» детали беседы. Дополнительные инферентные знания по поводу рода отношений между героями и предмета их разговора достраиваются за счет использования автором говорящих имен: *Lady Sneerwell* («Любительница насмешек», буквально «хорошо издевающаяся») и *Snake* («Змея подколотная», дословно «змея»). Соединение одних только имен в рассматриваемом контексте позволяет имплицировать тему беседы персонажей как полную колкости и сплетен. Другой имплицит, используемый в сэттинге, заключается в глагольной форме *discovered*, которая намекает на известную интимность происходящего: зритель как бы вынужден наблюдать все, что происходит в будуаре, и подслушивать разговор действующих лиц.

Проиллюстрированный нами сэттинг — далеко не единственный тип ремарок, заключенный в общем формате драматургических произведений. Так, при исследовании и самого корпуса текста пьесы нельзя не обратить внимание на его неоднородность. Здесь в реплики действующих лиц, из которых строится этот текст, то и дело вклиниваются сведения, предназначенные постановщику, который должен, следуя за данными указаниями, направить игру актера. Помещаемые в рукописях текста в скобки и, таким образом, тоже получая специальное графическое выражение, эти межрепликовые «вставки» составляют неотъемлемую черту пьес. Их задача заключается в том, чтобы в соответствии с интенциями автора пьесы актеры «правильно» озвучивали свои реплики или же перемещались на сцене. Очевидно, что и они являют собой образец особых текстов в тексте.

Учитывая такие переплетения разнородных текстов в «полном» тексте пьесы, мы и сочли уместным взамен плоскостной модели пьесы предложить объемную, а именно — модель «Русской

матрешки». Представьте себе разложенные перед вами в разобранном виде шесть-семь последовательно расставленных матрешек — от самой маленькой до самой большой. Если самые маленькие символизируют в модели **автора** и **название** пьесы, то самая большая — ее **постановку**. Рассмотрим теперь **функции**, символизируемые каждой из матрешек. Как и название любого романа, название пьесы служит сообщению о главном герое / героях пьесы, но в отличие от романов, типология их достаточно ограничена. Полагаем, что названия греко-романской драмы, представленные, как правило, именами героев (ср. *Прометей Прикованный*, *Антигона*, *Медея*, *Ипполит*, *Эдип-царь*, *Два Менехма*, *Октавия*), можно считать прототипическими и для английских пьес.

Результаты нашего исследования [Петрова 2009] также показали, что, помимо указания на главное действующее лицо — вымышленное (*Othello* У. Шекспира) или историческую личность (*Pizarro* Р. Шеридана), здесь могут быть названия события (*The Cocktail Party* Т. Элиота, *The Homecoming* Г. Пинтера), или места, где эти события происходят (*Murder on the Nile* А. Кристи), а также время действия (*The Winter's Tale* У. Шекспира), хотя и здесь в фокусе внимания оказывается событийный план пьесы. В русской культурологической традиции, начиная с А. Н. Островского, указывается и главная мораль драматургического произведения («Не в свои сани не садись», «На всякого мудреца довольно простоты»), которая встречается и в англосаксонской классике (*All Is Well That Ends Well* У. Шекспира).

Функцией следующей матрешки, символизирующей список действующих лиц, является **полное их перечисление**. С появлением театральных программок возле каждого героя из этого списка указывался впоследствии и актер, исполнявший данную роль на сцене. Можно отметить, что исторически система построения и организации списка действующих лиц в английской драме пережила ощутимую эволюцию и коснулась прежде всего четырех параметров — количества участников, наличия хора в составе действующих лиц, гендерного фактора, а также самого концептуального принципа, положенного в основу иерархии построения списка. Так, параметр количества действующих лиц демонстрирует тенденцию к снятию «перегруженности» за счет перехода с пятиактных на трехактные и камерные пьесы. Первые эксперименты по устра-

нению хора, принадлежащие Менандру, в англосаксонской традиции получают свое развитие в постшекспировскую эпоху; речи персонажей представлены как «непрерывная сплошная линия» (термин К. С. Станиславского) только в XVIII в., т. е. когда происходит окончательное оформление драматического жанра литературы. Параметр гендера участников свидетельствует о постепенном включении женских персонажей в общий список. Параметр последовательности введения действующих лиц указывает на соблюдение иерархии не по социальному или родственному принципу, а по значимости персонажа для театрального действия.

Кроме списка действующих лиц и сэттингов, в состав драматургического произведения входит еще один тип сценических ремарок, также представленный малоформатными текстами. По своему содержанию это нечто иное, как **инструкции** для постановщика пьесы и непосредственно для актеров, касающиеся характера произнесения той или иной реплики (ср. помещаемые в скобки указания типа *to the gentleman; promptly; reads, reproducing her pronunciation exactly*), использование при этом неких паралингвистических средств (*trying his pockets; coming forward on her right*), выражаемых при этом эмоций (*with quick interest; still hysterical; inapt at definition*) или и того и другого одновременно (*springing up terrified*) и т. п.

Подытоживая сказанное о сценических ремарках, подчеркнем, что в наиболее общем виде мы делим их на 1) вводные / интродуктивные авторские ремарки, или **сэттинги**, и 2) **ремарки межрепликового характера**, отражающие передвижение персонажей на сцене и/или особенности произнесения ими реплик; и те и другие соответствуют идее авторского комментария. Заметим, что как таковые понятия сэттингов и ремарок межрепликового характера никогда специально не выделялись прежде.

При сопоставлении предлагаемой нами типологии с уже имеющейся на сегодняшний день общей классификацией ремарок по их функциям выявляется несколько большее разнообразие последних. Так, при обобщении у других авторов ремарки включают в себя четыре типа, соответствующих выполняемым ими функциям — описание сцены, описание персонажей, ремарки физического действия и ремарки речевого действия [Пляшкунова 2006: 495]. Однако несложно заметить, что описание сцены соответствует тому, что нами названо сэттингом, поскольку характеризует статичную

обстановку на сцене так, как она предстает перед зрителем. Вторая из указанных функций — описание персонажей — когнитивно связана с сэттингом по принципу «фон — фигура» и, по нашему мнению, может быть объединена с ним в одну группу. Существенным является и тот факт, что для канона построения и организации английской драмы вообще нехарактерно отделять описания действующих лиц от описания обстановки (см. пример выше из «Школы злословия» Р. Шеридана). Два других вида ремарок, характеризующих какую-либо динамику деятельности (физического, речевого), логично было бы объединить во вторую группу нашей классификации. В целом необходимо отметить, что указанные в рассматриваемой типологии функции описания персонажа крайне редко обнаруживают себя фактически и встречаются в основном в пьесах Б. Шоу, в меньшей мере — Т. Стоппарда.

Возвращаемся к нашей модели: чтобы отразить наличие в пьесе межрепликовых инструкций, в образуемый ей формат знания и, соответственно, его модель вводится еще одна (пятая по счету) матрешка. Собранные все вместе в самую большую матрешку, они оказываются способными символизировать и окончательную цель модели — **постановку** пьесы на сцене в таком театральном зрелище, как **спектакль**. В модели матрешки, таким образом, подчеркивается одновременно как целостность репрезентируемого этой моделью формата знания, так и его разложимость на части, подчиненные реализации общему замыслу пьесы — интенциям ее автора. Отметим, что количество матрешек вырастает при использовании некоторых других, непрототипических для формата знания пьесы малых текстов. Ими могут быть посвящение-адрес, эпиграф и т. д.

Прослеживая существование конкретных малых «текстов в тексте» пьесы (то есть заголовка, списка действующих лиц и т. п.), мы, как это следует из нашего изложения, не только предлагаем особую модель самого драматургического произведения и определяем его устройство и организацию. Подчеркивая факт выделения в пьесе указанных разных типов текста, как выполняющих различные **функции** и служащих идентификации их непосредственных **адресатов**, мы также обеспечиваем описание пьес как достаточно сложных форматов знания.

Великие драматурги невольно подсказывают будущим исследователям, какие именно составляющие их произведений превращают

последние в театральное зрелище. Более того, они наглядно свидетельствуют и о том, какие из этих составляющих оказываются **необходимыми и достаточными** для зрителя, чтобы он поверил в реальность происходящего на сцене и воспринял ее как отражающую речь людей в определенных условиях, продиктованных требованиями сюжета. Все это и делает драматургическое произведение не только воспроизводящим особый фрагмент дискурса, но и фиксирующим его в своей целостности. Так, когда Шекспир написал «Гамлета», «он ввел нечто новое, новую единицу в состав английской речи. При этом, однако, очень важно заметить, что новым в составе английской речи оказался весь “Гамлет” как целое, как данное произведение» [Александрова 2007: 451].

Устройство драматургических произведений существенно отличается их от других родов литературы. Последние очень много могут описать, но, преподнося уроки жизни, пьесы **показывают** происходящее. Они демонстрируют его в виде определенного действия — театрального зрелища — и изображают его посредством речевых актов в процессе говорения, иначе говоря, воспроизводя на сцене дискурсивную деятельность. Именно факт зафиксированного при этом «сопровождения» обмена репликами за счет сэттингов и межрепликовых «вставок» и превращает сам этот обмен в то, что с современной точки зрения может считаться отражением дискурсивной деятельности.

Правильно и обратное: изучение драматургических произведений со сформулированными здесь процедурами лингвистического анализа позволяет подтвердить реальные координаты и свойства **самой дискурсивной деятельности**, отличающие их, по крайней мере, от других типов речемыслительной деятельности (например, от перевода). Изучение драматургических произведений с лингвистической точки зрения может также способствовать лучшему пониманию так называемых «малых текстов», расширить их классификацию и включить в ее единицы как названия пьес, так и — особенно — тексты сэттингов.

Определив двух- или даже треадресатность пьесы как ее особое свойство, сказывающееся в организации ее по принципам «текста в тексте», и описав каждый из выделенных нами текстов по их собственным функциям и адресатам (ср. триаду «постановщик пьесы — ее актеры — зрители»), мы сумели не только охарактери-

зовать строение ее канона, но и предложить его репрезентацию в виде известного формата знания.

Мы, конечно, полностью отдаем себе отчет в том, что подобное описание оставляет в стороне многие важные аспекты драматургических произведений, касающиеся их авторов и/или сюжетных и событийных линий как знаменующих собой содержание пьес как таковых. Вследствие объема настоящей публикации мы также вынуждены были оставить без внимания и такую существенную часть пьесы, которая относится к конкретным свойствам речи/языка ее персонажей. Но ведь и цель нашей статьи состоит в другом: показать в самом общем плане, как много из черт самого драматургического произведения еще ускользало от внимания исследователей. Мы же стремимся к заполнению этих пробелов, пытаюсь осветить более подробно все те особенности пьес, которые являются следствием их лингвистического анализа, — правда, проведенного по особой программе. Думается, что именно в результате его осуществления нам удалось показать, что, будучи предназначенными для изображения поведения людей в специфических, прагматических и хронотопических условиях, великие драматурги выбирали, во-первых, обычную для людей и самую привычную для них форму человеческого общения — общение с помощью языка. Они также сумели продемонстрировать нам, какие именно составляющие образуют неотъемлемые свойства самого процесса указанного поведения и прежде всего — его мотивы, его конкретные обстоятельства и т. п. Наконец, они увидели, как можно воплотить на сцене свои замыслы через реализацию того, что с современной точки зрения должно рассматриваться как **воспроизведение фрагмента дискурсивной деятельности**.

Думается также, что выполненное исследование открывает некоторые новые перспективы дальнейшего изучения драматургических произведений с точки зрения современной лингвокультурологии — в частности, проведение сравнительного анализа разных жанров литературных (художественных) произведений с произведениями драмы. Выше уже отмечалось, что романы могут очень многое и в самых разных деталях **описать**, тогда как драматургические произведения в этом смысле более ограничены. Зато они воплощают замыслы их авторов в **зрелища** и **демонстрируют** поступки героев,

заставляя их говорить и свободно проявлять свои эмоции. В этом отношении пьесы скорее приближены к реальности. Особенно тесно это связано именно с отражением на глазах у зрителей живой эмоциональной речи, произносимой, как и в реальной жизни, от первого лица.

Помещая все происходящее на сцене в определенные рамки — рамки имеющего свое начало и свой конец динамического события — драматурги делают все, чтобы убедить зрителя в близости действия к реальной жизни. Этому, собственно говоря, и служат все отдельные составляющие пьес, подсказывая постановщику и следующим его конкретным указаниям актерам, как превратить произносимые ими реплики в воспроизведение определенного фрагмента дискурсивной деятельности, чтобы определить далее эту деятельность как особый лингвокультурологический феномен.

ЛИТЕРАТУРА

- Александрова 2007 — *Александрова О. В.* Некоторые особенности речи и ее построения // *Язык и действительность: Сб. науч. трудов памяти В. Г. Гака*. М.: ЛЕНАНД, 2007. С. 450—456.
- Алпатов 1970 — *Алпатов В. М.* Литературный, стандартный, общий язык // *Язык и действительность: Сб. науч. трудов памяти В. Г. Гака*. М.: ЛЕНАНД, 2007. С. 45—52.
- Апт 1970 — *Апт С. К.* Вступительная статья // *БВЛ. Сер. 1. Т. 5. Античная драма*. М.: Худ. литература, 1970. С. 5—33.
- Арутюнова 1990 — *Арутюнова Н. Д.* Дискурс // *Лингвистический энциклопедический словарь*. М.: Сов. энцикл., 1990. С. 136—137.
- Болдырев 2006 — *Болдырев Н. Н.* Языковые категории как формат знания // *Вопр. когнитивной лингвистики*. 2006. № 2. С. 5—22.
- Болдырев 2008 — *Болдырев Н. Н.* Оценочные категории как формат знания // *Когнитивные исследования языка. Вып. III. Типы знаний и проблема их классификации: Сб. науч. трудов* М.: ИЯз РАН; Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2008. С. 25—37.
- Болдырев 2009 — *Болдырев Н. Н.* Концептуальная основа языка // *Когнитивные исследования языка. Вып. IV. Концептуализация мира в языке: колл. Монография / Гл. ред. сер. Е. С. Кубрякова; отв. ред. вып. Н. Н. Болдырев*. М.: ИЯз РАН; Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2009. С. 25—77.

- Демьянков 2005 — *Демьянков В. З.* Текст и дискурс как термины и как слова обыденного языка // *Язык. Личность. Текст: Сб. статей к 70-летию Т. М. Николаевой / Отв. ред. В. Н. Топоров. М.: Языки слав. культур, 2005. С. 34—55.*
- Кубрякова 2005 — *Кубрякова Е. С.* О термине «дискурс» и стоящей за ним структуре знания // *Язык. Личность. Текст: Сб. статей к 70-летию Т. М. Николаевой / Отв. ред. В. Н. Топоров. М.: Языки славянских культур, 2005. С. 23—33.*
- Кубрякова, Александрова 2008 — *Кубрякова Е. С., Александрова О. В.* Драматические произведения как особый объект дискурсивного анализа (к постановке проблемы) // *Известия РАН. СЛЯ. 2008. № 4. С. 3—10.*
- Кубрякова 2008а — *Кубрякова Е. С.* О методике когнитивно-дискурсивного анализа применительно к исследованию драматургических произведений (пьесы как особые форматы знания // *Принципы и методы когнитивных исследований языка: Сб. науч. трудов / Отв. ред. Н. Н. Болдырев. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2008. С. 30—45.*
- Кубрякова 2008б — *Кубрякова Е. С.* Драматургические произведения как объект когнитивно-дискурсивного анализа // *Язык и дискурс в статике и динамике: Тезисы Междунар. конф. Минск: МГЛУ, 2008. С. 43—44.*
- Кухаренко 1988 — *Кухаренко В. А.* Интерпретация текста. 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1988.
- Ортега-и-Гассет 1987 — *Ортега-и-Гассет Х.* Краткий трактат о романе // *Вопр. литературы. 1987. № 9. С. 169—205.*
- Петрова 2005 — *Петрова Н. Ю.* Особенности публицистических текстов малого формата (на материале кратких заметок журнала «The New Yorker»): Дис. ... канд. филол. наук. М.: МГПУ, 2005.
- Петрова 2009 — *Петрова Н. Ю.* Названия английских драматургических произведений в когнитивной перспективе // *Вопр. когнитивной лингвистики. 2009. № 3. С. 35—43.*
- Пляшкунова 2006 — *Пляшкунова А. В.* Классификация драматургических ремарок до и после работы А. Б. Пеньковского и Б. С. Шварцкопфа // *Язык и мы. Мы и язык: Сб. статей памяти Б. С. Шварцкопфа. М.: РГГУ, 2006. С. 494—505.*
- Реформатский 1933 — *Реформатский А. А.* (при участии М. М. Каушанского). Техническая редакция книги. Теория и методика работы / Под ред. Д. Л. Вейса. М.: Гизлегпром, 1933.

- Степанов 1974 — *Степанов Ю. С.* Семантическая реконструкция (в грамматике, лексике, истории культуры) // *Proceedings of the 11th International Congress of Linguistics*. Bologna, 1974.
- Степанов 2007 — *Степанов Ю. С.* Сосредоточимся в тишине. Несколько редко вспоминаемых французских и испанских выражений о «духовном созерцании» // *Язык и действительность: Сб. науч. трудов памяти В. Г. Гака*. М.: ЛЕНАНД, 2007. С. 42—44.
- Телия 2006 — *Телия В. Н.* Послесловие. Замысел, цели и задача фразеологического словаря нового типа // *Большой фразеологический словарь русского языка*. М.: АСТ-пресскнига, 2006. С. 776—782.
- Хализев 1986 — *Хализев В. Е.* Драма как род литературы: поэтика, генезис, функционирование. М.: Изд-во МГУ, 1986.
- Ярхо 1974 — *Ярхо В. Н.* Предисловие // *Аристофан. Избранные комедии*. М.: Худ. литература, 1974. С. 5—27.
- Brinsley 1906 — *Sheridan, Richard Brinsley*. *The Dramatic Works*. Oxford University Press. L.; N. Y.; Toronto, 1906. P. 183—280.

В ГЕНЕЗИСЕ ЯЗЫКА, ИЛИ РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ АБСТРАКТНЫХ ИМЕНАХ

Существует немало специальных работ, посвященных особенностям абстрактных имен и истории их изучения (из работ последнего времени см., например [Чернейко 1997; Бубнова 2004; Брикотнина 2005] и др.), но настоящая статья никак не может рассматриваться как их обзор. Цели ее иные — показать, как на примере этих единиц можно использовать когнитивный подход и обратиться к постановке и решению сложнейших проблем современной теоретической лингвистики и, разумеется, лингвистики когнитивной. Уровень ее развития позволяет, как представляется, уже сегодня высказать ряд соображений о том, что такое репрезентативная функция языка (ведь многими учеными существование этой функции ставится под сомнение, см. [Кравченко 2006]), какова роль языка в настоящее время по сравнению с тем, какую он играл у истоков самого *homo sapiens*'а, и, наконец, попытаться ответить на вопрос о том, действительно ли язык **отражает** мир или же в определенном смысле **творит и созидает** его.

* * *

Излишне специально говорить о том, какую огромную роль играют абстрактные имена — *Nomina Abstracta* — в системах современных языков. Являясь обязательной и значительной по своему объему частью словаря, они образуют основу терминологической лексики, широко используются не только в любых научных описаниях мира и/или в публицистике, но и в повседневной речи. Как особый пласт лексики они противопоставлены предметным именам и характеризуются целым рядом отличительных свойств, изученных в многочисленных работах, притом не только лингвистических, но и философских. Если предметные имена объединяются в одну категорию по наличию у их денотатов (или референтов) определенных аналогов со вполне очевидными сенсомоторными, чувствен-

ными, телесными или вещными свойствами, то, напротив, *Nomina Abstracta* обычно причисляются к категории слов, по большей степени их лишенных. К ним нередко применяется понятие безденотатной лексики (Б. Рассел), против чего, однако, можно возразить: хотя в мире «как он есть» нет таких сущностей, как *русалка*, *кентавр* или *единорог*, в вымышленном мире фантазий им легко приписать «телесные» свойства и наглядно изобразить с помощью рисунка, да и в сознании людей они представлены конвенциональными образами.

В отличие от этого абстрактные имена таких образов не имеют, и хотя во многих из них просвечивает перцептуальное начало (мы, например, отличаем *движение* от простого *перемещения* или *ходьбы*), они именуют некие предельные в своей обобщенности величины, в значительной мере свободные от телесных свойств. Поэтому, как бы ни проступали в их семантике следы зафиксированного в них наглядного опыта взаимодействия человека с окружающей средой, дать их значениям простую дефиницию достаточно сложно. Во многих словарях они и описываются либо как специальные термины (*движение* — ‘форма существования материи’), либо через указание на их источник (т. е. как простые синтаксические дериваты, по формуле «действие по такому-то глаголу»). В их семантике преобладает именно обобщение, притом довольно высокого уровня, отвлечение от материальных признаков. Подводящие под крышу знака сложные концептуальные структуры (см. ниже), они требуют особого описания стоящих за ними когнитивных структур — структур знания и оценки мира, — весьма объемных по своему содержанию (попробуйте, например, перечислить все, что вы знаете о движении, гордости или образовании). В то же время, как я уже сказала, в словарях толковых их дефиниции весьма лаконичны.

По большей своей части абстрактные имена вторичны и производны, а значит, сложны и **композиционно**: неслучайно наиболее изучены они со словообразовательной точки зрения и по образуемым ими ономаσιологическим структурам. Напомню, что такие структуры трехчленны и представляют собой объединение двух концептов, объединяемых между собой неким концептом связи, или отношения. Известно также, что их ономаσιологическая (концептуальная) структура фиксирует пропозициональное значение, а лежа-

щая в их основе пропозиция, как правило, реализует связь двух величин. В итоге в производных словах вообще и в абстрактных именах в частности можно наблюдать пучок концептуальных признаков (ср. отношения предмета к процессу или процесса к предмету в обозначениях типа девербативов или же деноминативов), причем следует отметить, что и в этом отношении абстрактные имена принципиально отличны от производных же имен, но с предметной семантикой (ср. *объявление о войне* и *объявление на заборе*); в предметных именах и их значениях закрепляется представление о качественной определенности именуемого объекта, тогда как в абстрактных именах констатируется скорее один-единственный признак, сформированный по его отношению к другим признакам, предметам или процессам (ср. *доброта, возжелание, слава, скованность*).

Если учесть, что упомянутые нами связи и отношения принципиально **не наблюдаемы**, а следовательно, их выделение и опознание отражают, несомненно, ступень познания мира, более высокую по сравнению с той, что отражает познание наблюдаемых в телесном опыте (*bodily experience*) сущностей / объектов, само возникновение абстрактных имен требует их анализа в **исторической** перспективе. Более того, мне кажется, сегодня следует высказать некоторые догадки о месте *Nomina Abstracta* в генезисе языка. Ведь очевидно, что этап познания мира, отражаемый в абстрактных именах, явно связан с **выводными** знаниями, умозаклучениями о природе связей и отношений между фрагментами мира, с постижением причинно-следственных зависимостей и т. п. А это в эволюции человека происходит, по всей видимости, гораздо позднее, нежели обозначение тех объектов, что непосредственно входили в окружающую человека среду и/или участвовали в разных типах осуществляемых людьми простейших структурах деятельности (кооперативных формах труда).

Ср. в то же время обозначения типа *цветок*, в котором остенсивно определяемое и конкретное имя мотивировано абстрактным именем *цвет*, что свидетельствует о том, что между общими, но конкретными номинациями и номинациями абстрактными могут устанавливаться в более поздние этапы исторического развития языка противопоставляемые друг другу связи (*цветок* от *цвета* по сравнению с *истинность* от *истина* / *истинный* или *идейность* от *идея* / *идейный*; ср. также *вдовство* или *детство* в значениях 'состо-

яние бытия в качестве вдовы / вдовца', 'бытие в состоянии пребывания в качестве дитяти / ребенка', 'время пребывания в этом качестве'). Концептуальная структура «отношение предмета к другому предмету» может, таким образом, конкретизироваться в производных разной семантики (т. е. как в предметных, так и абстрактных именах).

Даже признавая справедливость теоретических положений представителей современной биолингвистики о соотношениях действительности и языка, согласно которым признаваемые в мире фрагменты материального мира выделены человеком отнюдь не в силу объективности их существования в окружающей человека среде, а только в силу наличия языка, логично сделать вывод о принципиальных различиях между остенсивно опознаваемыми и остенсивно не познаваемыми объектами. Рассуждения У. Р. Матураны — этого известного чилийского биолога и философа — о том, что «сущности, подобные горам и океанам, есть конечные результаты наших перцептивных процессов ... и они входят в нашу область дискурса и описания» [Имото 2006: 13], подвергались, на мой взгляд, вполне заслуженной критике. Матурана трактует отношения между действительностью (миром как онтологической реальностью, существующей независимо от сознания человека), языком и человеком как формируемые наблюдателем и его ощущениями, что, в свою очередь детерминировано биологическими свойствами человека, а также тем, с чем наблюдатель взаимодействует «и из чего он выделяет простые и сложные сущности» [Там же: 14]; вещи же (объекты) «принадлежат языку» [Maturana 1992: 108].

Как я это понимаю (быть может, и неправильно из-за сложности объяснений у самого Матураны и его последователя Ф. Варелы, а также противоречивости истолкования его взглядов у его комментаторов), концепция Матураны не просто противопоставлена традиционному пониманию окружающей нас среды. Матурана «смещает понятие традиционной объективной реальности в область описаний в языке» [Имото 2006: 18]. Но, как мне кажется, это и может быть охарактеризовано как позиция лингвистического детерминизма: мы признаем существование в мире объектов, деревьев или скал якобы только потому, что их выделили или описали в языке. В генезисе языка такая точка зрения может найти свое подтверждение: первичные диффузные имена называют, действительно,

пакеты ощущений, связанных с качественной определенностью тех или иных объектов вокруг человека, сосредоточенностью пучка сенсорно и наглядно воспринимаемых свойств в определенной их целостности и в отличие от других предметных сущностей в той же среде. См., например, у А. Дамазио: «...концепт формируется на основе сенсорных моторных репрезентаций» [Damasio 1989]; ср. [Бубнова 2004: 61—62, 105]. Заметим при этом, что в генезисе языка концепты предшествуют языку и подготавливают почву для ословливания этих пакетов нейронной активности сознания. Как только таким сущностям даны наименования, разделяемые определенным коллективом (сообществом) говорящих в их кооперативной деятельности, связь между выделенным объектом и его названием оказывается более непосредственной. С позиции здравого смысла устанавливаются более прямые ассоциации знака с тем, на что он указывает и взамен чего он используется в языке.

Впрочем, для тех, кто хочет разобраться в концепции Матураны и его последователей и развиваемой им теории восприятия, я отсылаю к интересному сборнику, вышедшему под редакцией А. В. Кравченко и его коллег в 2006 г. под названием «*Studia Linguistica Cognitiva*, I, Язык и познание» (М.: Гнозис, 2006). Кравченко и сам неоднократно писал о взглядах перечисленных ученых.

Пожалуй, наиболее заслуживающей внимания у У. Р. Матураны является его теория восприятия (ср. [Имото 2006] и др. материалы названного мной выше сборника), в которой подробно освещаются такие понятия, как понятие различения, типов взаимодействия со средой и самой среды (субстрата и *medium*'а) и т. п. и особенно структурного детерминизма в процессах оязыковлениа мира. Ведь, действительно, в окружающей среде человек и должен выделять в первую очередь объекты с четкими контурами и/или вполне определенными сенсорными признаками, вследствие чего можно считать, что воспринимаемое им структурно детерминировано. Это согласуется с мнением А. В. Запорожца о том, что движения, совершаемые человеком при осмотре, ощупывании и т. п. предмета, зависят от его материальных свойств, т. е. его формы, веса, размера, и о том, что перцептивный образ предмета представляет собой известное подобие воспринимаемого объекта ср. [Запорожец 1986: 126].

В связи со сказанным выше я предлагаю различать **первичную реальность** мира, когда в генезисе человека, как на то указывает

Матурана, «...вещи принадлежат языку» [Maturana 1992: 108]. Это значит, что «вещи», подобные горам, облакам, деревьям и т. п., выделены человеком деятельностью его сознания, усмотревшего в них поводы для неких действий со средой и «увидевшего» в них некий каузальный фактор для осуществления необходимого действия. Эти «вещи» — создание языка, давшего им имена и включившего два сознания в сферу дискурса. Но как только связь вещи (референта) с языковым знаком в известном смысле закреплена, а онтологически существующий мир **обозначен**, силой подобного обозначения он начинает наличествовать в ином качестве — в виде **вторичной реальности** сознания. Теперь он образует в сознании систему знаковых репрезентаций, и мы воспринимаем его так, как нам это подсказывает здравый смысл: в относительной константности окружающего. Так ребенок вступает в этот мир, и язык играет при этом ориентирующую функцию, позволяя ему жить и действовать в предметном мире и разделять свои «знания» со знаниями взрослых. Более того, его внимание оказывается сосредоточенным на том, что уже выделено языком. Конечно, на разных уровнях овладения миром роль языка как знаковой системы оказывается тоже нетождественной, а онтогенез **не повторяет** филогенеза.

Возможно также, что именно креация языком первичной реальности сознания может быть связана с возникновением языковой картины мира, и впоследствии именно она «навязывает» нам представления о том, как устроен мир и из чего он «состоит». Не могу не признать, что для современного человека такое положение дел представляется более естественным и более реальным не только потому, что это соответствует традиционным взглядам на объективную действительность, но потому, что это согласуется с тем, как мы действуем в этом мире и как все это происходит на практике и при более глубоком постижении мира сегодня (т. е. при обретении знаний о мире).

Я упоминаю о теории Матураны лишь потому, что, на мой взгляд, она тоже свидетельствует о том, что связи в триаде «действительность — язык — человек» надо рассматривать в историческом ракурсе, поскольку на разных этапах эволюции человека они подверглись существенным изменениям. Менялось и познание мира, и роль языка в познавательных процессах, само содержание такого понятия, как среда и действительность. Преобразовывались

и принципы членения и категоризации мира в разных сообществах людей, и принципы номинации и вербализации отдельных единиц в концептуальных системах человеческого сознания и т. п. Но как только мы вводим в гипотезы о генезисе языка историческое измерение, наши реконструкции этого процесса все более затрагивают все большее количество разнообразных факторов, требуют привлечения все большего количества источников сведений об эволюции человека и его перехода к существу, отличному от других живых существ, ибо он становится не просто *homo sapiens*, а *homo loquens* и *homo cognisans*.

Конечно, при исследовании языка на первых порах его существования и возникновения надо считаться с этимологией слов, с общими правилами семантической деривации и т. д. Но лично мне более близки данные словообразования — ведь в современных языках общее количество производных слов достигает чуть ли не 75—80 % всего словаря полноточных единиц номинации, а неология позволяет рассмотреть, как происходит формирование этих единиц буквально у нас на глазах; следовательно, установить мотивы обозначения, соотнесения когнитивных структур с языковыми, причины выбора тех или иных названий в условиях возможного выбора из ряда альтернативных форм проще всего на этом материале.

В итоге мне кажется, что для анализа абстрактных имен следует принять некоторые допущения, касающиеся генезиса языка и разных этапов познания мира, а также процессов его концептуализации и категоризации в разные периоды становления самого человека. Хочу опять подчеркнуть, что все излагаемое мной далее есть не что иное, как догадки о том, как могли появиться абстрактные имена и почему именно их появление так кардинально изменило роль языка в бытии человека.

* * *

Одним из таких допущений уже давно было положение о том, что язык как знаковая система возникает из потребностей общения людей в их совместной трудовой деятельности, и, вообще говоря, у нас нет оснований отказываться от этого допущения. Вне кооперации людей для решения задач выживаемости племени и продол-

жения рода человеческого трудно представить себе его историю. Невозможно представить себе и передачу складывающегося у людей опыта взаимодействия с окружающей его средой от одного поколения к другому, хотя подобная передача наблюдается и у других живых существ. Но мне кажутся еще более важными предположения о том, что происходило в сознании будущих людей во времена, **предшествующие** появлению языка, т. е. в моменты **предсуществования** языку.

Здесь было бы уместно использовать данные, относящиеся к пониманию поведения и развития бессловесных тварей, а также обратить внимание на безусловную связь процессов обобщения и абстрагирования как процессов, требующих отбрасывания неких «ненужных» и менее релевантных деталей в осмыслении мира. В каком-то смысле следует утверждать, что элементы оценки всегда присутствуют в восприятии среды и что даже первичные физические сигналы животных не лишены моментов интенциональности и целеполагания, этих неперенных компонентов общения. Как и у людей, физические сигналы служат прежде всего остановке внимания на определенных объектах или ситуациях: вода! опасность! И если в животном мире эти сигналы считаются рефлексорными и выражающими в первую очередь некие эмоции, все же и они включаются генетически в их биопрограммы. Тем убедительнее становятся для нас в этой связи предположения о том, что аналогичные звуковые и жестовые сигналы предшествуют появлению языка у человека, что общение людей друг с другом начинается с таких сигналов и что в их функционировании все очевиднее становятся элементы интенциональности, целеполагания (привлечения внимания к релевантным свойствам окружающего).

Определяя понятие «концептуализации» и утверждая, что «структура языка зависит от “концептуализации”, которая является результатом постижения человеком себя в окружающем пространстве бытия, а также выработки человеком отношений к этому внешнему миру», В. З. Демьянков совершенно правильно подчеркивает зависимость формирования концептов в концептуальной системе человека от среды и ее осмысления [Демьянков 2006: 5], ср. также мнения и таких отечественных когнитологов, как Н. Н. Болдырев, в серии его работ о концептуализации мира. Но ведь элементы такой же зависимости можно наблюдать и у животных! Они тоже

должны адаптироваться к среде своего обитания, а объединяясь в стаи, стада и прочие аналогичные образования, формируют «коды общения». Тем выше становится место живого существа в иерархии всего живого, тем большее количество физических сигналов включается в указанные «коды» и тем разнообразнее оказываются смыслы подобных единиц. Очевидно, что в становлении человека прямоходящего эти процессы протекают еще более интенсивно.

Правильно поэтому, что многие ученые подчеркивают способности к категоризации мира и для других живых существ, т. е. способности дифференцировать свои ощущения и определенным образом обобщать разные их типы (отличать съедобные и несъедобные растения или корни; «свою» и «чужую» территорию; места, удобные или подходящие для проживания и добывания пищи и, напротив, этими качествами не обладающие, и т. д.).

У человека эта способность противопоставлять «те же» или «не те же» ощущения и/или ощущения, полученные по разным каналам и обрабатываемые разными органами чувств, со временем становится выраженной все в большей степени, и она-то и ложится в основу формирования концептов, а далее — категорий при вербализации этих концептов. Таким образом, обобщения в восприятии мира и при его членении происходят в условиях их сортировки и идентификации, в условиях их распределения по группам, классам и прочим разрядам и, конечно, в силу понимания человеком их принадлежности к одним и тем же областям восприятия (цвету, размеру, весу и прочим перцептуальным характеристикам). Хочу также отметить, что в качестве отдельных объектов выделяются обычно фрагменты мира, объединяемые определенной совокупностью таких признаков (их пучком) и демонстрирующие их в некоем константном наборе. Эти совокупности и вербализуются впоследствии в виде предметных имен, которые далее, в свою очередь, ассоциируются в сознании человека напрямую с отдельно взятыми вещами (объектами). Кажется вследствие этого, что по сути дела вербализуются не столько отдельные концепты, сколько концептуальные структуры, но как только подобная структура оказывается «языковленной», т. е. репрезентированной особым звуковым отрезком, отдельным телом знака, именно в языке рождаются новые (языковые) концепты, используемые далее в сознании и концептуальной системе человека как гештальты, как целостности и потому

как самостоятельные единицы и как таковые они могут вступать в новые комбинации и сочетаться друг с другом. Именно это, по всей видимости, и характеризует этапы возникновения человеческого языка и перехода от кодов в животном мире, «языка» животных и протоязыка — к языку. Важнейшую роль в этом процессе, как нам представляется, следует отвести тому факту, что эмоциональные выкрики животных, строясь как определенные сигналы, организуются **повторами** звуковых отрезков. Так они привлекают к себе большее внимание и легче могут быть услышаны. Повторы знаменуют усиление интенсивности «сообщаемого», и в этом качестве они выполняют чисто прагматические функции. Однако в становлении человеческого языка эти функции трансформируются: повторы, т. е. редупликация звуковых отрезков, становятся первым шагом к **композиционности** знаков и их дальнейшей **дифференциации**. Ведь в такие композиции могут вовлекаться как реально повторяющиеся звуковые отрезки (в актах их редупликации), так и разные (т. е. вербализовавшие, как мы указали выше, отдельные первичные смыслы, отдельные концепты). В этом последнем случае оязыковляются первые концептуальные структуры.

Если обращение к языку животных позволило нам сделать некоторые предположения о процессах обобщения и первичной примитивной категоризации как обязательных показателей начинающегося общения между живыми существами на определенном этапе их собственного развития, то понимание дальнейшей эволюции человеческого языка требует также использования и других источников этого процесса. В этих целях мы и обращаемся теперь к многочисленным исследованиям по **онтогенезу**, т. е. к анализу **детской речи**. Объем статьи не позволяет мне, естественно, останавливаться на этих данных с достаточными подробностями. Нельзя, однако, не отметить, что и в детской речи (даже на этапах простого гуленья) преобладают сложные, т. е. повторные комбинации звуковых отрезков. Первые «слова» ребенка (а вернее, слова-высказывания, по внешнему виду односоставные) — это часто редупликация типа *би-би*, *па-па*, *ма-ма*, *ням-ням*, *ни-ни* и пр. Мы уже писали о том, что подобные диффузные имена могут интерпретироваться по-разному, означая то производимое объектом действие (метонимия по звукоподражанию), то констатацию присутствия объекта в поле зрения, то требование его появления и т. п. Интонация и ее изменение

могли превратить такое протовысказывание в запрос или настойчивое повеление (*би-би? дай-дай!*). Но еще важнее, что аналогичные редуплицированные сигналы могли постепенно иконически члениться, т. е. их части получали отдельную интерпретацию, а сам повтор начинал восприниматься как **составное сочетание** и, таким образом, своеобразное **сложение**, внутри которого надо было установить простейшие **связи** (ср. такой тип древнейших сложных слов, как двандва, и их значение для образования форм множественного числа). Иначе говоря, изучая даже такие простейшие повторы и последствия редупликации в типологическом плане, можно сделать важные выводы, касающиеся уже не только явлений в онтогенезе, но и в **филогенезе** речи. Но еще более существенные выводы можно получить, по-видимому, при изучении комбинаций из первичных неповторяющихся отрезков, т. е. агглютинации более сложного типа. Именно это делают сейчас типологи в своих когнитивных исследованиях по **грамматизации** и превращениях лексических единиц (концептов) в грамматические — служебные слова и формативы. Благодаря стиранию и выветриванию лексических значений и их постепенному переосмыслению начинается становление грамматики с типичным для нее противопоставлением классов слов и их дифференциацией, маркировкой каждого из таких классов специальными показателями и, конечно, с формированием «настоящих» высказываний-предложений с лежащей в их основе пропозициональной структурой из разных единиц и их значащего соединения.

Все эти процессы мы уже знаем как из наблюдений над историей отдельных языков (особенно из истории редких и экзотических языков, которыми сегодня занимаются типологи), так и из наблюдений над детской речью (при исследовании так называемой простейшей грамматики — *pivot-grammar* у ребенка). Значимость таких исследований бесспорна, да и их результаты впечатляющи, благодаря чему можно ожидать с полным на то основанием, что при надлежащем их использовании они окажут огромную помощь и для понимания генезиса концептуальной системы нашего сознания и когнитивных оснований грамматики. Такие попытки, надеюсь, характеризовали и мои «Части речи с когнитивной точки зрения» [Кубрякова 1997; 2004], и к развернутому изложению этих взглядов я не считаю необходимым возвращаться в настоящей работе. Но упоминание об этих соображениях и мыслях других ученых

по тем же поводам было мне, тем не менее, необходимо именно для того, чтобы продемонстрировать возможность использования указанных данных для реконструкции **концептуальных систем и структур** и, главное, их дальнейших судеб для прослеживания истории **абстрактных имен**.

Вернусь поэтому теперь к той части моего изложения, где я начала цепочку рассуждений о том, как появляются в концептуальных системах отдельные концепты (соотносимые на определенном этапе развития этих систем с отдельными смыслами и отдельными концептами как оперативными единицами нашего сознания, не исключая, конечно, их происхождения как из более непосредственных корреляций предметных имен с фрагментами мира, так и из более сложных концептуальных структур, предшествовавших таким ассоциациям, о чем мы уже тоже говорили выше). Что же теперь становится возможным в развитии и функционировании самих концептов? Как сказывается в этом процессе дифференциация их типов (по передаваемым им смыслам) и, главное, изначальная композиционность самих концептуальных структур (в силу их первоначальной диффузности и т. п.)?

Вербализованные концепты делают возможным, что то, что уже не структурируется (и не должно структурироваться!) в сознании человека, структурируется в языке, где разные формы вербализации исходной концептуальной структуры дают основания судить о ее составных частях, т. е. об отдельных конституентах самой этой структуры. Путь вербализации задумываемой концептуальной структуры — это путь поиска подходящей языковой формы / форм, которая / которые, будучи найденными, становятся как имена категории представителями отдельных и самостоятельных концептов. Такова природа диалектического противоречия концептуальной структуры (в сознании) и концепта (в языке), возвращающегося в сознание уже в виде самостоятельной единицы. Проследите, например, необходимость передать в языке представление о том, кто пашет землю (и соответствующей этому представлению концептуальной структуре), и реализацию этого замысла в виде альтернативных знаков типа *землепашец* и *пахарь*. Как только эти номинации «порождены» в ходе лингвокреативной деятельности человека, в концептуальной системе человека появляются новые оперативные целостные и холистические единицы, и в мыслительных процессах

они выступают уже как «неразложимые» сущности (т. е. как отдельные концепты!). Появляется возможность использовать сами эти отдельные концепты в новых комбинациях и сочетаниях (например, создавая понятие **концептосферы** как концептуальной структуры из двух «готовых» знаков).

Здесь и возникает вопрос о различиях между концептуальными структурами разного порядка: одни из них формируются как структуры, объединяющие в одно целое наборы перцептуально отождествляемых признаков, а потому реализующиеся в языке в виде предметных имен. Другие формируются принципиально другим образом — семиотически, путем манипулирования знаками в операциях «знак за знак». Первые — это денотативно ориентированные знаки, вторые — безденотатны; они создаются номинальными определениями, умозрительно, фиксируя объекты, которым, по сути дела, нет прямых соответствий в реальном мире. У них нет референтов в виде отдельных предметов, вещей, самостоятельных и остенсивно определяемых тел. Они соответствуют умопостигаемым сущностям, и мы называем их абстрактными именами. Очевидно, что они могут появляться только на более высоких и продвинутых этапах осмысления мира, вызывая к жизни механизмы реификации, или «опредмечивания» непредметных величин. С языковой точки зрения это соответствует реализации задумываемых человеком концептуальных структур с помощью существительных, прототипические значения которых связаны с предметными (или, по И. Г. Руденко, исчислимыми) сущностями.

Мы уже неоднократно говорили «о возможностях языка самому создавать новые сущности путем их номинальных определений», см., например, [Кубрякова 2004: 8]. Отмечая это свойство абстрактных имен, И. А. Бубнова пишет: «Концепты абстрактных имен являются высшей формой ментальной деятельности человека. Только в абстрактном имени обобщаются такие стороны действительности, которые в самой действительности объединены лишь именем» [Бубнова 2004: 76]. И все же с нашей точки зрения здесь следовало бы говорить не о «сторонах действительности» как о чем-то заранее данном, а об **осмыслении** некоторого фрагмента онтологической данности сознанием в ходе его восприятия и обработки всем сенсомоторным аппаратом человеческого тела. Думается, что такое постижение мира происходит на достаточно высоких уровнях развития

человека. Как подчеркивает Л. С. Выготский, «абстракция и обобщение мысли отличны от абстракции и обобщения вещей. Это не дальнейшее движение в том же направлении и не его завершение, а переход в новый и высший план мысли» [Выготский 1982: 279].

Широкое распространение в современных развитых языках абстрактных имен заставляет, однако, поставить под сомнение теоретическое положение об очень позднем появлении абстрактных имен. По-видимому, во всех письменных языках такие единицы уже засвидетельствованы, и это далеко не случайно. Кстати говоря, среди существительных, «заполняющих» их ноэтическое пространство, я указывала уже в работах конца 1980-х гг. «понятия» (notions).

С современной, когнитивной точки зрения следует, действительно, признать, что естественная категория строится зачастую как **многофокусная**, а категория существительных, будучи естественной, явно развивается постепенно именно в эту сторону. Центральность положения в ней названий объектов с четкими перцептуально наблюдаемыми свойствами, показательная для начальных периодов ее становления, эволюционирует на более поздних этапах развития языка. Поэтому если чисто исторический взгляд на вещи позволяет говорить о том, что, например, имена качеств (в современном английском языке) образуют периферический пласт существительных (см., например, очень хорошую работу [Брикотнина 2005]), знаменующих обращение анализа к миру «внутри нас», то, скорее, с синхронной точки зрения я бы предпочла утверждать иное. Усиливается роль **интерпретации** мира «как он есть», и понятийная лексика начинает занимать в категории существительных все большее место. О ее периферийности можно говорить только в том смысле, что производные существительные образуют некие «переходные» классы слов с другими частями речи, разделяя с ними концептуальные характеристики этих других частей речи и демонстрируя собой **гибридные** композиционные структуры (из онома-сиологических базисов, признаков и предикатов).

Что же касается обращения к миру «внутри нас», то оно, строго говоря, обязательно для любой номинации как порождаемой прежде всего в концептуальной (интериоризованной) системе человеческого сознания. Нельзя, впрочем, отрицать и того факта, что среди наличных обозначений «вторичной» реальности абстрактные имена, действительно, служат номинации внутренних состоя-

ний человека (эмоций, чувств и т. п.). Целому ряду из них можно дать только номинальные определения. Возникают же они в ходе осуществления семиотических операций, о сущности которых яснее всего сказал, на мой взгляд, Р. И. Павиленис. В замечательной своей монографии 1983 г. он подчеркивал: «Естественный язык, символически фиксируя определенные концепты концептуальной системы мира, дает возможность, манипулируя — на основе усвоения и по мере построения концепта о грамматической структуре языка — вербальными символами, манипулировать концептами системы» [Павиленис 1983: 113—114]. Это значит, продолжает он дальше, создавать и строить «новые концептуальные структуры». Такие структуры могут быть более или менее близкими к познаваемой действительности, но они не являются «полностью детерминированными ею». Ведь речь идет о логической (т. е. обуславливаемой самой системой) возможности построения концептов [Там же: 114]. Но указанные им операции с готовыми, уже существующими в языке (т. е. вербализованными) концептами есть операции **семиотические** (заметим, что выделенные в тексте единицы выделены самим Р. И. Павиленисом). Отмечает Павиленис и то, что концепты такого рода расширяют границы познания и позволяют перешагнуть их созданием границы актуального опыта, границы наблюдаемого в прямом восприятии мира. При таком понимании хода познания концепт — это «часть концептуальной системы — то, что индивид думает, воображает, предполагает, знает об объектах мира», а «концептуальная система — непрерывно конструируемая система информации (мнений и знаний), которой располагает индивид о действительном или возможном мире» [Там же: 279—280].

Для нас очень важны все эти соображения, но, конечно, особенно существенны применительно к трактовке абстрактных имен указания на возможность создания в языке символов (знаков) для называния гипотетических и принципиально ненаблюдаемых объектов, которые впоследствии другими авторами именуются «гносеологическими» (И. Г. Руденко) или «метафизическими» (Г. П. Кузикевич). В противоположность чисто физическим объектам они создаются только в метаязыке описания мира. Мы говорим о принадлежности этих объектов миру понятийному, умопостигаемому, реалиям осмысления и интерпретации сути явлений мира, а не явлениям как таковым (т. е. первичной реальности).

Упреки в адрес авторов первого номера «Вопросов когнитивной лингвистики» в лингвистическом детерминизме (см. [Никитин 2005]) мы принимаем только в том смысле, что уже вербализованные концепты выполняют в языке особую ориентировочную функцию, направляя мысль человека прежде всего на то, что уже обозначено в языке с помощью знаков. Но гиперболизировать это свойство языка мы решительно отказываемся, подчеркивая роль человеческого фактора в языке и постоянно осуществляемой человеком лингвокреативной деятельности (особенно в сфере создания метафизических объектов путем их номинальных определений или в области порождения так называемых номинализаций, см. подробнее [Ирисханова 2000]). В серии работ о языковой картине мира мы неоднократно подчеркиваем условность этого термина, известную ограниченность влияния языка на познавательные и мыслительные процессы как явно выходящие за пределы известного дотоле и уже познанного. Мы также отмечаем возможности «перекраивания картины мира» под воздействием реальной действительности, а отнюдь не только описаний мира в языке; мы указываем в этой связи роль высоких технологий, расширяющих чисто визуальное ознакомление людей с происходящим во вселенной, в космосе, в отдаленных уголках земли, что меняет наши общие представления об устройстве и организации мира и т. п., но чему, возможно, в нашем языке и нет специальных обозначений. Язык «навязывает» (термин Ю. Д. Апресяна — см. [Апресян 1986]) многое, но отнюдь не все (ср., в частности, изменения в системах ценностей, в системе нравственных установок, в оценках окружающего и т. д.). В этой ситуации, несомненно, позиции чистого лингвистического детерминизма нами явно не разделяются.

Я говорю на нескольких европейских языках и, смею полагать, знакома не только с грамматическим строем германских, но и славянских языков (особенно в области частей речи и словообразования). Тем самым я знаю, как надо выразить те или иные мысли на этих языках и что именно «навязывается» их грамматикой и лексикой, ибо знаю, каково членение мира в этих языках. Но система общих представлений и ценностей у меня все же одна, и, таким образом, картина мира в моем сознании — образ мира — частично независима от языка / языков, а следовательно, границы

моего мира все же не определяются, как это полагал Л. фон Витгенштейн, границами языка.

Я знаю о различиях координационных систем в указанных языках, ибо занималась концептуализацией пространства с помощью предлогов и дейктических слов; я понимаю, какие именно сцены и в какой перспективе можно передать с помощью предложных конструкций в разных языках, и даже могу **объяснить различия** в употреблении конкретных предлогов (ср. англ. *at the university* и *in the university* при русск. *быть / находиться в университете* и также *работать в университете* и пр.). Вместе с тем я думаю, что понимание пространства и расположения в нем отдельных сущностей в целом богаче и разнообразнее в моем сознании, нежели в известных мне языках, и для описания этого разнообразия в случае необходимости мне пришлось бы прибегнуть к развернутым аналитическим дескрипциям, т. е. создать некие новые средства отражения указанного содержания.

Подведем некоторые итоги. Вообще говоря, каждое слово «обобщает» (В. И. Ленин): знаки по природе своей не могут раскрыть своим содержанием и своими конвенциональными значениями всего богатства стоящих за ними и известных усредненному представителю своего языкового сообщества когнитивных структур, этих конкретных структур мнений, оценок и знаний мира. Знак репрезентирует все это **редуцированно и метонимически**. Знаки — это средства активизации в нашем сознании когнитивных структур, притом в том объеме, в котором они «даны» (известны) и «нужны» нашему сознанию (как системе репрезентаций внутреннего и внешнего, реального и фантазийного, воображаемого, наблюдаемого и ненаблюдаемого мира) и в котором наряду с разделяемыми с другими говорящими сведениями о мире имеются сведения субъективные, личностные и индивидуальные.

Хотя область генезиса языка — это область догадок и предположений, представляется возможным уже сейчас попытаться реконструировать далекое прошлое. Тем более это касается языковых явлений, нуждающихся в их анализе в исторической перспективе. Ведь интересующие нас абстрактные имена возникают, несомненно, на развитом уровне бытия языка, и они соотнесены с теми этапами в эволюции человека, когда его сознание уже оказывается способным оперировать вторичной реальностью мира и использовать для

его познания сформированную к тому времени систему конвенциональных звуковых знаков. Как мы уже отмечали выше, это совпадает с теми моментами в диахронии, когда корреляции между конвенциональными знаками и их референтами, их денотатами (т. е. теми реалиями, к которым они относятся в данном коллективе говорящих) становятся закрепленными, и эта связь осмысливается как достаточно константная и устойчивая.

Именно потому, что естественной средой обитания человека оказывается не только его непосредственное экологическое окружение, но и **языковая среда**, а также потому, что фактически основную массу сведений о мире мы получаем через языковые описания, абстрактные имена, будучи постоянными единицами общения, знакомят говорящих с обозначениями высоких степеней отвлечения от физического мира и приобщают их к лексике научной и/или близкой научной. Нельзя не отметить при этом, что, как и всякое однозначное существительное, абстрактное имя способствует распространению неких усредненных знаний и служит обозначению знаний разделенных.

Абстрактные имена демонстрируют не только, что появление разного рода языковых явлений мотивировано исторически и, значит, может быть объяснено тоже только в диахронической перспективе и с учетом познавательных процессов определенного уровня и содержания, — их возникновение знаменует креацию в языке таких новых объектов, которые служат не «отражению», а интерпретации мира, его осмыслению. Такие объекты можно именовать гносеологическими, или метафизическими. Они соответствуют объектам, созданным человеческим разумом и интеллектом и не входят в сферу непосредственного восприятия или непосредственного окружения человека. По своей природе это семиотические образования, появляющиеся в особых актах семиозиса, требующих комбинации знаков и номинальных определений. Креативные начала в языковой (номинативной) деятельности и деятельности концептуальной проявляются здесь особенно ярко, и их когнитивные сущности и когнитивные функции чрезвычайно важны для построения понятийного, умопостигаемого ментального пространства. Являясь именами самых высоких категорий в системе языка, они свидетельствуют о том, что мысль человека

преодолевают границы физического и что в каком-то смысле новые реальности мысли творятся языком.

ЛИТЕРАТУРА

- Апресян 1986 — *Апресян Ю. Д.* Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. Вып. 28. М., 1986.
- Брикотнина 2005 — *Брикотнина Л. В.* Специфика семантики абстрактных имен качества и ее экспликация в синтаксисе (на материале англ. яз.): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Барнаул, 2005.
- Бубнова 2004 — *Бубнова И. А.* Абстрактное имя и интеллект: когнитивная модель как отражение индивидуального ментального опыта. Минск: МГЛУ, 2004.
- Выготский 1982 — *Выготский Л. С.* Мышление и речь // *Выготский Л. С.* Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. М.: Педагогика, 1982.
- Демьянков 2006 — *Демьянков В. З.* *Studia Linguistica Cognitiva* — призыв к сотрудничеству // *Studia Linguistica Cognitiva*, 1. Язык и познание. Методологические проблемы и перспективы. М.: Гнозис, 2006.
- Запорожец 1986 — *Запорожец А. В.* Избранные психологические труды. Т. 1. Психическое развитие ребенка. М.: Педагогика, 1986.
- Имото 2006 — *Имото С.* Философское основание теории восприятия Матураны // *Studia Linguistica Cognitiva*, 1. Язык и познание. Методологические проблемы и перспективы. М.: Гнозис, 2006.
- Ирисханова 2000 — *Ирисханова О. К.* Некоторые особенности категоризации отглагольных имен существительных // Когнитивные аспекты языковой категоризации: Сб. науч. трудов. Рязань, 2000.
- Кравченко 2006 — *Кравченко А. В.* Является ли язык репрезентативной системой? // *Studia Linguistica Cognitiva*, 1. Язык и познание. Методологические проблемы и перспективы. М.: Гнозис, 2006.
- Кубрякова 2004 — *Кубрякова Е. С.* Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когнитивной лингвистики // Известия РАН. Сер. литературы и языка. 2004. Т. 63. № 3.
- Кубрякова 2004 — *Кубрякова Е. С.* Язык и знание. М., 2004.
- Никитин М. В. Российский уклон в когнитивной лингвистике // Интерпретация. Понимание. Перевод. СПб., 2005.
- Павиленис 1983 — *Павиленис Р. И.* Проблема смысла. Современный логико-философский анализ языка. М.: Мысль, 1983.
- Чернейко 1997 — *Чернейко Л. О.* Лингвофилософский анализ абстрактного имени. М.: МГУ, 1997.

Damasio 1989 — *Damasio A.* Concepts in the brain // Mind and Language. 1989. Vol. 4. № 1—2.

Damasio 1999 — *Damasio A.* The feeling of what happens: Body and emotion in the making of consciousness. N.-Y.: Harcourt, 1999.

Maturana 1992 — *Maturana H. R.* The biological foundations of self consciousness and the physical domain of existence // *Luhmann H., Maturana H. et al.* Beobachter: Konvergenz der Erkenntnistheorien? 2nd ed. Munich: Fink Verlage, 1992.

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ ИМИДЖА

Поскольку в определении понятия имиджа следует обратить внимание прежде всего на его знаковый характер, для того чтобы объяснить его место в современной отечественной культуре, необходимо остановиться, на наш взгляд, на интерпретации ключевого для всей семиотики понятия знака. Хорошо, казалось бы, известное, это понятие может трактоваться как сравнительно более узкое (в соссюрианском смысле, а следовательно, при рассмотрении в первую очередь знаков языка), так и более широкое (в традициях, восходящих к античной древности, а далее — развитых в концепциях Ч. Пирса и Ч. Морриса). По всей видимости, предпочтительным является все же расширительное толкование знака, ибо именно оно в большей мере отвечает сегодняшним задачам семиотики, нуждающейся в достаточно свободном понимании ее границ: между знаками и незнаками и с признанием за разными эмпирическими сущностями наличия у них разных «степеней знаковости» (Ю. С. Степанов). Возможности такого расширительного понимания знаков были заложены уже давно — формула *aliquid stat pro aliquo*, неоднократно по-разному переводившаяся разными семиотиками и по-разному ими истолковываемая, трактуется все же обычно как ‘нечто, служащее для указания на существование чего-то другого’, ср. [Jakobson 1971: 703], или ‘чего-то, стоящего вместо (pro) чего-то другого’, ср. [Кубрякова 1993].

Как пишет Ч. Пирс, «Знак, или **репрезентамен**, есть нечто, которое представляет (*stands /.../ for*) кому-либо что-либо в некотором отношении или качестве» (цит. по [Чертов 1993: 43—44]). Ср. также: «...знак стоит вместо чего-то, находящегося вне нашего мозга» [Соломоник 1992: 17] или «...знак есть нечто, выступающее для кого-то (интерпретатора) в роли представителя чего-то (объекта) в силу некоторой особенности или свойства. Знак есть сущность, характеризующаяся тройственной связью между Репрезентаменом (собственно знаковой формой), Объектом и Интерпретантой (т. е. предрасположенностью реагировать определенным

образом под влиянием знака — см. [Моррис 1983])» у А. В. Кравченко [Кравченко 2001: 52—53]. В каждом из этих отчасти сходных и отчасти различающихся между собой определений подчеркнута важная сторона знака, и, вместе взятые, они позволяют расширить сферы приложения семиотики (т. е. следовать более поздним традициям, заложенным Романом Якобсоном как последователем Ч. Пирса и Ч. Морриса и развитым в отечественной семиотике), распространяя семиотические установки не только на области существования и поведения живых биологических систем или искусственных кибернетических систем, ср., например, [Чертов 1993: 44 и сл.], но и рассматривая с семиотической точки зрения множество явлений культуры. Подобная точка зрения была четко сформулирована Ю. С. Степановым, указавшим, что знаковые системы обнаруживаются повсюду: «в языке, математике, художественной литературе, в отдельном произведении литературы, в архитектуре, планировке квартиры, в организации семьи, в процессах подсознательного, в общении животных, в жизни растений» [Степанов 1983: 5]. Это значит, что в знаковые отношения вовлекаются самые разные объекты, притом как из области языка, так и из разных областей знания — математики, литературы, культуры и т. п., которые по мере развития общества получают свою знаковую интерпретацию, т. е. обретают репрезентирующие их знаки.

Как правильно отмечает Р. Келлер, автор одной из очень интересных книг последнего времени по семиотике, культура и субкультуры разных сообществ могут противопоставляться по тому, какие области жизни она подвергает знаковой интерпретации, причем даже объем охваченных знаками сущностей может служить определению уровня цивилизации: культура определяется, в частности, и тем, скольким вещам мы приписываем знаковый характер, см. [Keller 1998: 2 и сл.]. По этому поводу можно сказать, что и вовлечение понятия имиджа в круг знаковых форм и образований — это сравнительно недавнее веяние в нашей культуре.

Хотя выше мы и привели наиболее убедительные для нас дефиниции знака, современная семиотика еще не внесла полной ясности в вопрос о том, взамен чего используются знаки и на что — конкретно — указывают знаки, — на нечто, находящееся вне нашего сознания (т. е. нечто реальное, являющееся фрагментом мира «как он есть»), или, напротив, на нечто, ассоциируемое внутри нашего

сознания с телом знака (т. е. нечто идеальное и/или входящее в сферу идеального как части нашего сознания), или, наконец, и на то, и на другое (как это происходит со словесным, языковым знаком). Неясен и вопрос о том, могут ли вообще эмпирические объекты выступать в роли условных знаков (символов) других эмпирических объектов?» [Кравченко 2001: 102] и т. п. Между тем для определения имиджа важно установить, по отношению к какому объекту он оказывается знаком: по отношению к такому «эмпирическому объекту», как человек, или же к такому идеальному объекту, как его **образ** (или его сущность — характер, присущие ему нравственные и прочие черты, т. е. нечто из сферы абстрактного и идеального).

Постановка проблемы в этом ракурсе несколько меняет сложившиеся представления о знаке, опирающиеся в значительной степени на представления, свойственные лингвистам, в фокусе рассмотрения которых (согласно соссюрианским традициям) находились в первую очередь знаки словесные, языковые. Мне кажется, известная неточность подобных представлений коренится, прежде всего, в том, что в лингвистике не различались и не дифференцировались понятия знакового отношения, с одной стороны, и понятие внутреннего устройства знака, с другой. Уже Т. В. Булыгина замечала по этому поводу: у Ч. Морриса речь идет чаще всего об отношении знака к объекту, «заместителем» которого он служит, а у Ч. Пирса (судя по его классификации знаков) — отнюдь нет. У Пирса характеризуются в основном отношения между обозначаемым и тем, что обозначается, т. е. между означаемым и означающим самого знака, хотя он и указывает, что знаковое отношение как таковое предполагает **три** члена: объект, знак (которым может быть любая вещь, если она служит для репрезентации объекта) и третий член, который он называет **интерпретантой** (при всей сложности и неясности этого понятия в самом общем смысле интерпретантой знака может быть тот эффект, который знак производит на интерпретирующего его субъекта), см. [Булыгина 1983]. Об интерпретанте как сущности, разъясняющей знак и буквально **интерпретирующей** знак в том или ином отношении или даже отношениях, см. подробнее [Кубрякова 1993].

При описании внутреннего устройства знака речь идет о соотношении означаемого и означающего знака, т. е. о той связи, которая наблюдается между телом знака (знаконосителем) и передаваемым

им значением, и для характеристики типа знака важной оказывается мотивированность / не-мотивированность (условность, произвольность) подобного соотнесения (например, у звукоподражательных знаков ассоциация между означаемым и означающим знаком выступает скорее как мотивированная). При описании же знаковых отношений речь идет именно о том, взамен какой сущности создается знак и как между собой соединены эти сущности, — например, типичным случаем знаковых отношений оказывается метонимический перенос типа *pars pro toto*, *pars pro pars* и т. п. В этом же плане следует рассматривать и причинно-следственные отношения, лежащие в основу индексальных отношений: «дым является индексом огня, поскольку дым есть событие, которое порождается огнем...» [Бейтс 1984: 70]. Таким образом, в этом случае определяется объективное отношение «между двумя объектами или событиями действительности» [Там же: 70].

Отмеченное нами расхождение в разных ракурсах рассмотрения знака исключительно важно для понимания сути имиджа: одно дело спросить, знаком чего оказывается имидж (ответ здесь — в признании имиджа как знака **человека**), другое — какое значение имеет сегодня слово *имидж* или — в когнитивных терминах — какая структура знания стоит за этим словом и им фиксируется. В общем же плане существенно установить, как сказывается объективно наблюдаемое отношение между двумя объектами (знаком и референтом знака) в содержании знака, а следовательно, какую роль играет это отношение в формировании значения знака. Естественнo, что если исходить из определения семиотики как науки, изучающей «вещи и свойства вещей в их функции служить знаками» [Моррис 1983: 38], то на первое место по своей важности выходит вопрос о том, какие «вещи» вступают в знаковые отношения, и, конечно, о том, зачем, в каких целях у одной сущности появляется ее знаковый заместитель и передачей какого смысла, или значения, обуславливается подобное замещение.

Размышления по этому поводу приводят нас к довольно неожиданным выводам: на многие из поставленных проблем в лингвистике и семиотике уже, казалось бы, были даны ответы. Во всяком случае, хорошо известны разные семантические и семиотические треугольники как разные модели знаков и знаковых отношений. Но как только мы обращаемся к ним, обнаруживается не только

разная терминология при изображении разных сторон и разных точек в пространстве треугольников, но и ограниченность тех типов знаков, которые используются для разъяснения знаковых отношений и/или помещаются в вершине треугольника. Но, пожалуй, еще больше запутывает положение дел то самое обстоятельство, о котором я уже сказала выше: смешение представлений о том, что характеризует знаковые отношения как таковые, и о том, что характеризует внутреннее устройство знака и аспекты его организации. На первый взгляд, вопрос о том, описывают ли треугольники отношения «денотат — концепт — знак» или же «слово — понятие — вещь» (ср. [Степанов 1971: 85 и сл.; Мечковская 2004: 24 и сл.]), касается лишь терминологических расхождений, но на самом деле различия в трактовке знака здесь существуют: Ю. С. Степанов характеризует денотативно-сигнификативные стороны (аспекты) знака, Н. Б. Мечковская — связь объекта обозначения («вещи») с формированием у обозначения плана выражения и плана содержания. Объясню это более конкретно.

Комментируя понимание А. А. Реформатским треугольника у Г. Фреге, Ю. С. Степанов тоже помещает в вершину треугольника **знак**, но тут же оговаривается, что в лингвистике этот знак — слово — звучащее или написанное [Степанов 1971: 85—86]. Но звучащий или написанный отрезок языка — это только **тело** знака, законоситель. Значит, изображаемые далее стороны треугольника указывают на соотнесение тела знака с миром вещей (предметом) и с миром мыслей о мире (понятием), и в этом смысле — с внутренним строением знака: телом знака и его значением, формируемым денотативно-сигнификативными компонентами и их связью. Меня же интересует вопрос о том, **взамен чего** появляется знак (ср. дым как знак костра или след собаки как знак собаки). Упрощает положение дел и то, что в вершине треугольника ставятся обычно предметные сущности (и слова, обозначающие эти сущности, типа дерева или собаки или петуха), но для них относительно легко определить их денотаты и сигнификаты. Получается, что треугольники оказываются призванными отразить в первую очередь сложность устройства знаков только одного типа, причем даже не самого знака, а его содержательной стороны — значения. Тогда знак оказывается, по сути дела, двусторонней величиной, связывающей между собой материальное тело знака с его идеальной стороной.

Как правильно отмечает А. Н. Барулин, «...по некоторому чувственно воспринимаемому объекту *X* мы распознаем другой объект *Z*, реагируя на него в соответствии с правилами знакового поведения, принятыми в данном коммуникативном сообществе» [Барулин 2002: 393]. Если в рассматриваемом нами случае объектом *X* является слово *имидж*, то какой объект *Z* мы должны распознать при его употреблении? Для того чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к такой семиотической системе, с которой, как, впрочем, и с языком, мы сталкиваемся постоянно: к системе уличных знаков. Что, например, означает для нас красный цвет, загорающийся в светофоре на перекрестке? Как пишет Ю. С. Степанов, некоторые сторонники семиотики, например, считают, что «знак уличного движения, воспрещающий проезд, есть высказывание “проезд запрещен!”» [Степанов 1983: 6]. Но ведь вполне уместно было бы здесь передать смысл происходящего и другими высказываниями, типа «Остановись на этом месте!» или «Переключи режим работы автомобиля с одного на другой» и т. п. Очевидно, однако, что дело здесь заключается не в высказывании, а в **ситуации** и правильной интерпретации возможного множества подобных ситуаций. Иными словами, объектом *Z* оказывается именно ситуация или набор ситуаций и положения дел. Полагаю, что для определения имиджа очень важно понять именно то, что в знаковое отношение вовлекаются здесь знак (языковое обозначение, слово) и некое искусственно создаваемое положение дел, возможно, даже некий **сценарий**: языковое обозначение лишь метонимически (*pars pro toto*) закрепляет его общий абстрактный смысл (концептуальную структуру). А уж из всего сказанного следует и то, что тело знака представляет, прежде всего, некую идею, некий концепт: определить **имидж** — значит по нему охарактеризовать концепт или концептуальную структуру, стоящую за этим словом, его значение.

Казалось бы, сделать это не так уж трудно — в русском языке слово *имидж* — заимствование. Достаточно, однако, обратиться к описанию этого слова в английском языке, как можно убедиться в том, что русское *имидж* повторяет далеко не все значения его источника: значения скульптуры, статуи, фигуры, иконы, копии, перечисленные в лексикографических изданиях первыми, на русской почве не прижились. Из всей семантической структуры, зафиксированной, например, в Большом англо-русском словаре [Гальперин

1972, т. 1: 689], в русском языке можно говорить только о значениях *‘мысленный образ’*, *‘представление’*, *‘символ’*. Но концептуальной структуры русского понятия имиджа они-то как раз и не исчерпывают, и она, безусловно, нуждается в разъяснении, причем, как мне кажется, разъяснении, выходящем за пределы собственно лексикографического представления этого слова (которое, кстати говоря, в обычных толковых словарях 1950-х и 1960-х гг. еще и не фиксировалось).

Предлагая в настоящей статье остановиться — хотя и в очень кратком виде — на описании понятия имиджа, я бы хотела одновременно с этим описанием продемонстрировать также, что подача слова в словаре, с одной стороны, объяснение структуры знания, стоящей за этим словом — с другой, и, наконец, концептуальный анализ того и другого — это хотя и частично совпадающие, но в большей мере разные вещи. Задачей словаря является создание такой дефиниции слова, которая обеспечила бы его отождествление в тексте и дискурсе; когнитивный анализ должен представить более полный набор сведений об объекте, обозначенном в рассматриваемом слове (в содержательном отношении) и отразить знания, необходимые для понимания объекта говорящими с разными уровнями образования. Обычно это знания, разделяемые большинством говорящих в данном сообществе. Концептуальный же анализ призван обнаружить ту концептуальную структуру, которая была объективирована в слове и мотивировала потребность в ее вербализации. Конечно, здесь намечены мною лишь самые общие черты трех дифференцируемых структур — семантической, когнитивной и концептуальной, и само различение этих разновидностей требует выработки специальных процедур их анализа. Тем не менее некоторые линии подобного анализа можно наметить и здесь: в каждую из них мощно вторгается **семиотическая составляющая**. Проиллюстрирую теперь высказанные выше соображения на конкретном материале, т. е. приведу образцы анализа реальных примеров употребления слова с тем, чтобы показать, основания для каких выводов о содержании понятия имиджа они предлагают.

Начну с отрезков текста из интервью В. Познера «Имидж России телевидение не спасет» («Аргументы и факты». 2005. № 25. С. 51), данного В. Полупанову. Он задает вопрос:

— «Вы, наверное, слышали, что из госбюджета выделяется 30 млн долларов на создание телеканала “Russia Today”, который будет вещать для иностранцев? Якобы он создается для того, чтобы улучшить имидж России за рубежом. Как вы относитесь к этой идее?»

— «По-моему, большей глупости придумать нельзя», — отвечает В. Познер и, аргументируя свою позицию, рассказывает о его работе на радио с 1970 по 1986 гг. Подводя итоги деятельности иновещания как «мощнейшей пропагандистской машины», он замечает далее: «Ну и что? Результата никакого — деньги уходили в бездонную бочку. Никакими усилиями радио не удалось изменить имидж СССР в мире. Отрицательный имидж России создается самой Россией и конкретными делами — коррупцией, бандитизмом... и никаким телевидением вы это не измените».

Очевидно, что во всех случаях употребления слова *имидж* в этих отрывках значение его может быть передано словом и концептом ‘представление’, в данном контексте имеющем смысл ‘мнение’ (т. е. тем, что думают о России). Здесь явно ощущается калька с английского, что делает возможным также «перевод» слова *имидж* словом (концептом) ‘образ’. Но повторное использование слова *имидж* здесь не случайно, и субституция его словом *образ* вряд ли вызвало, бы тот же перлокутивный (прагматический) эффект. Что же касается когнитивной структуры, стоящей здесь за словом *имидж*, то и она оказывается более сложной, чем у слов *образ*, *представление* (о сложности последнего концепта см. [Рябцева 2002]), поскольку правила семантического вывода (инференции) позволяют на основе текста сделать и такие догадки: если имидж России (как некогда и имидж СССР) надо улучшить, значит, о ней думают плохо или, по крайней мере, недостаточно хорошо; восприятие ее у людей за рубежом связано с отрицательными эмоциями, сложившиеся за рубежом негативные представления и мнения надо всеми силами менять; на эти изменения — как на создание любого имиджа — надо не жалеть ни усилий, ни средств и т. п. Но, главное, здесь, по всей видимости, — это явные импликации текста: имиджи **создаются**, а значит, их создание тем убедительнее, чем больше они отражают необходимое для поддержания образа положение дел, т. е. соответствуют

определенному идеальному образцу и эталону, стереотипу представления и т. п.

В текстах понятие имиджа нередко распространяется на мнения и впечатления (образы) не только о государствах, городах, странах, официальных учреждениях, фирмах, компаниях и т. п., т. е. о разного рода объектах, но чаще всего упоминаются все же представления о лицах. В этих ситуациях имидж — это, прежде всего, та **роль**, которую человек почему-либо хочет играть перед своими зрителями: обретая некий имидж, человек должен следовать канонам представления соответствующего персонажа в общественном сознании людей. В современном мире многие имиджи заимствуются не только из художественной литературы, их прототипами становятся актеры в театре и кино, музыканты, политики и другие общественные деятели.

Мой следующий пример — роман Дарьи Донцовой «Стилист для снежного человека» (М.: Эксмо, 2005), в котором развивается идея имиджа как специально создаваемого образа человека, для чего в современном обществе появляются стилисты, визажисты и имиджмейкеры, «деятельность» которых может трансформировать облик любой личности, даже снежного человека. Одной из таких личностей оказывается Ванда, которая, как кажется автору романа, *«ухитрилась скупить всю землю между Москвой и Питером»* и бизнес которой начался *«...С пустого места... С похода в парикмахерскую. Ванда вышла из салона кудрявой блондинкой, такой Барби...»*. «Сколько раз потом, — заключает автор, — ей помогал имидж блондинки из анекдотов, и не сосчитать. И сейчас “Барби” ворочает миллионами» (Донцова Д. «Стилист для снежного человека»). Здесь имидж явно связывается со значением приданного героине нового внешнего облика, повторяющего привычный вид куклы Барби. Благодаря преобразованию внешности, женщина приобрела образ **знаковой** (для американской культуры) фигуры, из чего следует, что обладание определенным имиджем наделяет личность семиотически маркированной характеристикой, а сценарий создания имиджа уточняется за счет указания на место, где он может быть сформирован (парикмахерская), того, кто может участвовать в его формировании, а также за счет объяснения **мотивов** создания определенного имиджа. Имиджи создаются для реализации определенных целей.

Ср. также еще один отрывок из романа, по жанру представляющего собой иронический детектив. После весьма забавного описания одежды и внешности еще одной героини — Ирины — идут даваемые ею самой объяснения причин обнаруживаемых в ней перемен, делающих ее абсолютно неузнаваемой: *«имидж у меня был несексуальный. И то верно, какой секс в футболке с джинсами. Женечка (стилист) мне стиль поменял. ...Мой образ называется “Девушка — черный лебедь”. Классно?»* (Донцова Д. «Стилист для снежного человека»).

К значениям слова *имидж* можно, таким образом, причислить *‘внешний облик’*; в когнитивную структуру включить знания не только о ситуациях создания имиджа, но и знания о том, что между имиджем и реальным человеком чаще всего обнаруживаются резкие несоответствия и что придание человеку имиджа осуществляется целенаправленно — для того чтобы избежать понимания указанного несоответствия. Имидж — это тот образ, который по тем или иным причинам призван заменить реальный объект или же представлять лицо или некую другую сущность (от характера и облика человека до государства и иных властных структур) в глазах (восприятии) других людей.

Поскольку человеку в целях создания имиджа легче всего изменить внешность, одежду или манеры поведения, во многих текстах описывается именно та или иная процедура «обновления» его облика: поиски новой одежды (ср. *«она слишком устала, чтобы бегать по магазинам в поисках нового имиджа»* (Лаво Н. «Чемпион по объяттям»)), новой прически (ср. *«Он согласился поработать над твоим имиджем... Томас — опытный стилист... он делает стрижки представителям высшего света Нью-Йорка»* (Лаво Н. «Чемпион по объяттям»)) и т. п.

Тесная связь понятия имиджа с внешним обликом человека (и, в частности, с его одеждой) явно прослеживается и в романе Наталии Нестеровой «Средство от облысения», где в диалоге дочь (Настя) упрекает свою мать:

«— Посмотри на себя! Кто сейчас ходит в тупоносых туфлях? В пальто столетней моды? А глаза? У тебя вечно в глазах один вопрос: в каком магазине колбаса дешевле?»

— Устами младенца, — кивнула Алла [подруга]. — Я тебе говорила? Надо поменять имидж.

— *И весь гардероб, — вставила Настя...*» (Нестерова Н. «Средство от облысения»).

Как раскрывается в дальнейшем тексте, поменять имидж — это *«прежде всего модернизировать внешность... И платья»*, а для этого героине советуют: *«Ты должна оформить себя у настоящего стилиста и визажиста»*.

Интересно отметить, что в современном употреблении слову *имидж* все чаще приписывается негативное значение именно из-за расхождения между тем, кем является человек (объект) на деле, и тем, кем он хочет казаться, или тем, какой образ он стремится представить. Имидж, таким образом, становится скорее обозначением **маски** человека, той **роли**, которую он хочет или вынужден играть. В воспоминаниях Александра Жолковского «Мемуарные виньетки и другие non-fictions» он рассказывает: *«В Корнелле я вел интеллектуальную академическую жизнь, посещал многочисленные общественные мероприятия и parties, “всех” знал. ...в дальнейшем, при переходе в Университет Южной Каролины, я полностью отказался от этой стороны своего имиджа и даже честно предупредил своих нанимателей, что второй раз театрализовать себя таким образом не намерен»* (Жолковский А. «Мемуарные виньетки и другие non-fictions»).

О таком же расхождении пишет и актриса Вера Алентова «И в кадре надо учиться» («Аргументы и факты». 2005. № 34): *«Есть такое понятие “имидж”: какой снялась — такой и в жизни ходи потом. Чтобы узнавали. А я в жизни была совсем другой...»*. Ср. также и в приведенных выше мемуарах А. Жолковского, где он рассказывает об актере театра Ленинского комсомола (Ларионове): этот *«записной красавец, игравший — на сцене и в кино — дежурные роли героев-комсомольцев»*, оказывается, *«в жизни обладал скорее идеальными, нежели реальными чертами своего актерского имиджа. Он был симпатичным человеком»* и т. п. (Жолковский А. «Мемуарные виньетки и другие non-fictions»).

Несомненна и известная противоречивость понятия имиджа как определенной маски, надеваемой человеком в тех или иных целях, хотя само противопоставление подлинного облика человека и этой маски сохраняется. Ср., например, следующий текст в романе Л. Паркер: *«Когда он повернулся к ней, стекла его темных, наподобие авиаторских, очков сверкнули в солнечных лучах словно золо-*

тые. Из-за этих очков его лицо казалось жестким, непроницаемым. Потом он снял их... Неудивительно, что он почти постоянно прикрывался очками. Неожиданно выразительные глаза выдавали в нем страстную глубокую натуру, скрываемую за имиджем крутого дельца» (Паркер Л. «Слаще жизни»).

Продолжая анализ конкретных примеров, можно было бы, наверное, обнаружить и более тонкие нюансы его значения, однако и разобранных нами выше достаточно, чтобы подвести некоторые итоги.

Итак, имидж — это то, кем или чем хочет выглядеть (казаться) объект в глазах окружающих, это специально и даже нередко искусственно создаваемый образ, необходимый его носителю по тем или иным причинам и отвечающий стереотипным или прототипическим представлениям о том, кем или чем должен являться этот объект на деле. Понятие имиджа можно связать с целым рядом не только таких концептов, как *‘образ’*, *‘представление’*, *‘облик’*, *‘вид’* и т. п., но и такими концептами, как *‘игра’*, *‘роль’*, *‘маска’*, *‘лицемерие’*, *‘обман’* и т. п. За понятием имиджа закрепляются также значения внешности (внешнего вида), манер поведения и стиля человека, соответствующих определенному идеальному эталону или образцу и свидетельствующих о той роли, которую он хочет играть (если понятие относится к одушевленному объекту, человеку).

Понятие имиджа соотносится также с целым набором разнообразных ситуаций — от ситуаций его создания, например, в СМИ (нередко — предназначенными для этого специально людьми определенных профессий) или необходимости обладания определенным имиджем до ситуаций использования имиджа в самых разнообразных целях. При этом **цели и мотивы** подобного использования могут широко варьироваться от самых благородных до самых низких, что и создает некоторую неопределенность в **оценке** наличия имиджа у того или иного объекта. Иногда обладание определенным имиджем как бы обязательно, и оно определяет нормы поведения (или бытия) лица (или другого объекта), ср., например, игру актеров в театре и на сцене, публичные выступления общественных деятелей и т. п. В некоторых ситуациях, однако, поддержание имиджа направлено на обман, на достижение исключительно внешнего эффекта, т. е. имидж оборачивается маской, надеваемой человеком в каких-то корыстных целях. И все-таки противоречивость имиджа сказывается именно в том, что значительное множество

ролей современного человека требует от него и «сохранения лица» при плохой игре, и, наоборот, поддержания авторитета и престижа своей профессии, фирмы, института, статуса и т. п. Это и делает обязательной связь имиджа человека и государства с нормами его существования и поведения, а формирование имиджа — важным фактором в достижении соответствия между идеалами и реальным положением дел, да и в самом тяготении к такому идеалу.

ЛИТЕРАТУРА

- Барулин 2002 — *Барулин А. Н.* Основания семиотики. Знаки, знаковые системы, коммуникация. Ч. 1. М.: Спорт и культура, 2002.
- Бейтс 1984 — *Бейтс Е.* Интенции, конвенции и символы // Психоллингвистика: Сб. статей. М.: Прогресс, 1984.
- Булыгина 1983 — *Булыгина [Шмелева] Т. В.* Комментарий // Семиотика. М.: Радуга, 1983.
- Гальперин 1972 — *Гальперин И. Р.* (ред.) Большой англо-русский словарь. Т. 1. М.: Советская Энциклопедия, 1972.
- Кравченко 2001 — *Кравченко А. В.* Знак, значение, знание. Иркутск: Изд-во ОГУП, 2001.
- Кубрякова 1993 — *Кубрякова Е. С.* Возвращаясь к определению знака // Вопросы языкознания. 1993. № 4.
- Мечковская 2004 — *Мечковская Н. Б.* Семиотика: Язык. Природа. Культура. М.: Академия, 2004.
- Моррис 1983 — *Моррис Ч. У.* Основания теории знаков // Семиотика. М.: Радуга, 1983.
- Рябцева 2002 — *Рябцева Н. К.* Лингвистическое моделирование естественного интеллекта и представление знаний // Проблемы прикладной лингвистики 2001. М.: ИЯ РАН, 2002.
- Соломоник 1992 — *Соломоник А.* Язык как знаковая система. М.: Наука, 1992.
- Степанов 1983 — *Степанов Ю. С.* В мире семиотики // Семиотика. М.: Радуга, 1983.
- Степанов 1971 — *Степанов Ю. С.* Семиотика. М.: Наука, 1971.
- Чертов 1993 — *Чертов Л. Ф.* Знаковость: опыт теоретического синтеза идей о знаковом способе информационной связи. СПб.: СПУн-т, 1993.

Jakobson 1971 — *Jakobson R.* Language in relation to other communication systems // *Jakobson R.* Selected Writings. II. Word and language. The Hague; Paris: Mouton, 1971.

Keller 1998 — *Keller R. A.* Theory of Linguistic Signs. Oxford Univ. Press, 1998.

К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ ОБЪЯСНЕНИЙ В ЛИНГВИСТИКЕ *

Похоже, что настало время для некоторых философско-лингвистических обобщений и разъяснений того, к чему мы пришли и куда двигаться дальше.

В. А. Виноградов

Широкое распространение исследований, определяемых их авторами как когнитивные, не свидетельствуют, увы, о ясном понимании их установок, да, по сути дела, и конкретные цели этих исследований оказываются не просто различными, но иногда и несовместимыми или, точнее, мало сопоставимыми друг с другом. Так, когнитивную науку считают и наукой о разумном поведении человека, обусловленном имеющимися у него знаниями и/или накопленным им опытом, и наукой о самом этом знании, и наукой о деятельности человека с информацией и типах этой разнообразной деятельности, и, наконец, наукой, пытающейся изучить все когнитивные способности человека и, главное, понять, что же такое человеческое сознание. В принципе, все эти перечисленные задачи стоят сегодня перед когнитологами, и каждая из них, действительно, не только имеет право на существование, но и поражает своей масштабностью и сложностью. Не вызывает также сомнения и тот факт, что ни одна из поставленных задач не может быть решена усилиями представителей какой-либо одной из традиционных фундаментальных наук, сложившихся к настоящему времени, и что само появление когнитивной науки было связано с осознанием указанного факта: в рамках когнитивизма ученым и надлежало разработать такие проекты и программы исследования, которые придали бы когнитивной науке междисциплинарный характер и междисциплинарный статус.

* Статья написана в соавторстве с О. К. Ирисхановой.

Эти требования — не всегда осуществимые по чисто объективным возможностям и тем более не часто выполняемые на практике — сыграли, тем не менее, свою заметную роль в когнитивной лингвистике. Это сказалось, прежде всего, на возникновении «сдвоенных» наук: по образу и подобию созданных до появления когнитивной науки психолингвистики и социолингвистики в лингвистике оформились и нейролингвистика, и биолингвистика, и, что, пожалуй, еще важнее, были радикально пересмотрены и укреплены связи когнитивной лингвистики с когнитивной психологией. Иначе говоря, между когнитивной лингвистикой и другими областями знаний — психологией, теорией обработки информации, нейрофизиологией, физикой (акустикой и оптикой), философией познания и др., сформировались разнообразные и одновременно достаточно сложные отношения. Все это послужило не только значительному расширению границ теоретической лингвистики как таковой и постановке в ней совершенно новых целей, не только усилило понимание вклада лингвистики в развитие всей когнитивной науки, но и коренным образом изменило представления о том, какова природа объяснений, принимаемых в современной лингвистике. Размышлениям по этому поводу и посвящается настоящая статья.

Чтобы прояснить нашу позицию, касающуюся понятия объяснения в лингвистике, нам кажется необходимым, во-первых, предложить такое определение задач когнитивной науки, которое вобрало бы в себя все более частные ее определения, приведенные нами выше. Именно на основании подобного общего определения самой когнитивной науки надо, во-вторых, конкретизировать те проблемы, которые вытекают из данного определения непосредственно для когнитивной лингвистики. Надо, наконец, в-третьих, ответить на вопрос о том, какое содержание вкладывается нами в понятие объяснения в науке вообще и в лингвистике в частности. Лишь в ходе последовательного рассмотрения всех указанных нами обстоятельств станет понятным основной пафос настоящей статьи, заключающийся в обосновании тезиса о том, что именно признание междисциплинарного характера когнитивной науки в целом позволило выйти в объяснении языковых явлений, а возможно, и в интерпретации ее главных функций, за пределы лингвистики как таковой, т. е. черпать подобные объяснения из целого ряда

дисциплин, относящихся к наукам когнитивного цикла, но — одновременно — и отличающихся от лингвистики как своим терминологическим аппаратом, так и собственными методами практикуемого в них анализа. Естественно также, что объем настоящей статьи не позволяет сделать это в достаточно полной и развернутой форме, и мы вынуждены довольствоваться лишь краткой аргументацией в пользу выдвигаемой нами точки зрения.

Начнем с самого общего определения задач когнитивной науки. Сошлемся в этом отношении на мнение В. З. Демьянкова, согласно которому «...в центре внимания когнитивизма находится освоение мира человеком», причем «именно это освоение и особенности [его] языкового преломления и интересуют когнитивистов в первую очередь» [Демьянков 2006: 6]. Как следует из этого определения, вполне очевидно, какое значение придается в когнитивной науке соотношению всего познанного и познаваемого человеком с языком. Проще говоря, в нем языковых обозначений и вне языковых описаний невозможен и сам когнитивизм. Все, что мы знаем о мире (и тем более о мире уже освоенном), мы знаем из языковых описаний. В то же время любому высказыванию на языке соответствует определенное конструирование событий, ситуаций, положений дел (а значит, и их обозначений!), а это явно предполагает наличие наблюдателя, владеющего естественным языком. «Информацией, которую говорящие могут передавать друг другу, — пишет Р. Джэкендофф, — должна быть информация о конструировании внешнего мира» [Jackendoff 1993: 83] (ср. также [Кубрякова, Демьянков 2007: 23]).

Приведенное определение когнитивизма свидетельствует о той несомненной роли, которая здесь придается лингвистике и которая — хотя и косвенно — определяет ее собственные границы, связывая их с изучением «языкового преломления» всего познанного как о внешнем, так и о внутреннем мире человека, а далее — и с исследованием процессов концептуализации и категоризации. Именно эти последние — как в своем протекании, так и по их результатам — и оказываются, по сути дела, главными объектами когнитивной лингвистики, притом опять-таки потому, что они неразрывно и непременно связаны с языком и вне этой связи изучаться, собственно говоря, не могут. Ни о каких концептах, ни о каких категориях в сознании человека мы не можем судить, минуя

их «языковое преломление», т. е. не изучая их по формам, нашедшим свою объективацию (вербализацию) в естественных языках.

Именно в этом мы видим и смысл определения языка как средства доступа ко всем внутренним — ментальным, мыслительным и прочим интериоризованным процессам, а также к обеспечивающим их когнитивным способностям человека, а значит, и к инфраструктуре его мозга.

В указанном качестве язык используется, однако, не только как открывающий путь к исследованию принципиально ненаблюдаемых сущностей (отсюда широкое применение в когнитивном анализе экспериментальных методик, апробированных прежде в психологии), но и как служащий источником столь необходимых в любой науке объяснений. Можно было бы указать в этой связи на особое положение объяснений в когнитивной науке на сегодняшний день. С одной стороны, сам язык выступает здесь в роли материала, обеспечивающего разумные и убедительные (*plausible*) умозаключения о широком спектре явлений, касающихся интеллекта человека и его ментальности, а значит, и всех видов обработки и переработки информации. С другой стороны, в лингвистике именно язык является специфическим объектом познания; он, его организация, его устройство, все присущие ему свойства сами нуждаются в разъяснении, осмыслении и интерпретации. Подобная разнонаправленность интересов когнитивной лингвистики — не столь уж очевидная и не всегда осознаваемая ее представителями — составляет одну из ярчайших ее отличительных черт и делает занятие этой наукой делом чрезвычайно сложным, но одновременно привлекательным и важным.

И хотя в сциентологии всегда существовало мнение о том, что объяснительная функция — едва ли не самая главная для любой науки, это мнение связывалось обычно с познанием сущностей внутри этой науки. В этом отношении лингвистика долго проявляла свое своеобразие. Достаточно вспомнить о таком влиятельном в свое время направлении, как дескриптивизм, в установки которого входило исключительно описание того, что есть в языке, т. е. констатация фактов, подлежащих непосредственному наблюдению, и их регистрация. Как писал один из идеологов указанного направления М. Джоос, лингвисты не должны давать объяснения фактам языка, а только фиксировать их [Joos 1966].

Конечно, подобное требование не понималось при последующем развитии лингвистики чересчур буквально, и все же, характеризуя эту ее сторону, можно отметить, что вплоть до появления функционально ориентированных и антропоцентрических течений проблема объяснений в лингвистике решалась достаточно традиционно. Во всяком случае, здесь постулировалась нежелательность выходов за пределы системы языка, имманентность ее внутренних закономерностей и т. п. Нередко в расчет принимались лишь исторические объяснения, но и их пытались избегать, ставя акцент на чисто синхронном описании системы. И хотя практика представления языковых явлений в грамматиках и, особенно, в словарях конкретных языков противоречила возможности обойтись в них совсем без простейших объяснений наблюдаемых фактов, в теории языка проблема природы объяснений, как правило, избегалась.

Между тем множились лексикографические издания разного типа — энциклопедии, толковые словари, и сама жизнь диктовала необходимость появления в них не только дефиниций лексических значений слов, но и более сложных толкований включенных в них единиц. Очень важно отметить, по нашему мнению, тот факт, что само объяснение объявлялось языковой единицей. Сошлемся, например, на «Словарь русского языка» С. И. Ожегова, где прямо указывалось, что *объяснить* — значит «растолковать другому или осмыслить для самого себя, сделать ясным, понятным» и что объяснение всегда связано с наличием у него соответствующей языковой формы, ибо оно также означает «письменное или устное изложение в оправдание чего-н., признание в чем-н.» [Ожегов 1978: 402]. В связи с этим важно подчеркнуть, что слова, обладающие в науке о языке объяснительной силой (прежде всего термины), должны — как своей формой, так и концептуальным наполнением — «сделать ясными» прежде всего сами языковые явления. Однако, в связи с растущей междисциплинарностью наук (особенно когнитивных) — о чем мы и писали выше, — объяснительный диапазон современных научных понятий уже не может ограничиваться лишь одной отраслью знаний, и мы становимся свидетелями многократных «челночных» переходов терминов. В условиях, когда метаязык (или его отдельные единицы) перестает быть собственностью одной науки, вполне логично ожидать значительное расширение объяснительной силы терминов как в

науке в целом, так и в пространстве отдельной научной парадигмы¹. Данное положение дел относится и к когнитивной лингвистике, известной своими интенсивными «междисциплинарными обмена» с другими науками.

Таким образом, начав наши рассуждения с обобщенной характеристики лингвокогнитологии, а также с общих положений о природе научного объяснения, мы хотели бы далее продемонстрировать на конкретном примере наблюдаемую в последние десятилетия тенденцию к нарастанию метаязыковых переходов из области внутренних объяснений устройства языка к внешним, нацеленным на изучение фактов, существующих на пересечении собственно языковых явлений с неязыковыми. Мы покажем, что метаязыковые единицы, попадая в новую научную среду, могут значительно расширить свои объяснительные возможности. В качестве такого примера мы выберем термины, относящиеся к явлению **распределения внимания**.

Понятие распределения внимания (и связанные с ним понятия селективности, фокусирования, фигуры и фона, и пр.) принадлежит, пожалуй, к числу наиболее ценных заимствований когнитивной лингвистики из когнитивной психологии. Изначальный «психологизм» когнитивной науки, а также понимание языка как когнитивной способности, в ходе которой реализуются общие принципы и законы познавательной деятельности человека, привели к прямому переносу некоторых психологических понятий, установок и принципов описания материала на языковые единицы и выражения.

Однако постепенно многие лингвистические работы, в которых использовались психологические термины «внимание», «селективность», «фокус», «фигура», «фон» и др. применительно к языку, стали трактовать процессы распределения внимания в расширительном ключе — с учетом характера языкового материала, особенностей концептуализации референтных событий, интенций коммуникантов (см. труды Л. Тэлми, Р. Лэнекера, Д. Спербера и Д. Уилсон). Тем не менее, даже если различие между сугубо психологическим и

¹ Не случайно именно абстрактные широкозначные лексемы естественного языка (в отличие от искусственного формализованного языка) служат источником метаязыков разных наук.

лингвокогнитивным видением того или иного явления или понятия кажется очевидным, большинство исследователей либо не обозначают его вовсе, либо представляют его в нечетком, имплицитном виде. Этот факт, по всей видимости, обусловлен тем, что многие когнитивные труды по-прежнему нацелены в основном на выявление «механики» распределения внимания в семантике отдельных лексем и предложений и, через это, на подтверждение действия в языке общих психологических законов концентрации сознания (фокусирования).

В целом, говоря о феномене внимания в психологии, следует отметить, что он исследуется с XIX века, хотя и получил отражение в более ранних философских исследованиях — у Аристотеля, Августина, Декарта, Лейбница и др. Аттенсиональные сдвиги изучались в рамках экспериментальной психологии, а позднее — в теории обработки информации и когнитивной психологии, также тяготеющих к экспериментальным методам².

Вне зависимости от того, как определяется внимание — как концентрация мысленных усилий на сенсорных и мысленных событиях у Р. Солсо, или как распределение когнитивных ресурсов для обработки информации у Дж. Андерсона, или как «фокус сознания» у У. Чейфа [Chafe 1994: 26—30]³ — за каждым из них стоит идея о селективности восприятия, обработки и хранения информации, т. е. о том, что в ходе решения проблемы мы сознательно направляем внимание на одни признаки (объекты) больше, чем на другие.

При всей сложности и многоплановости постановки проблемы нельзя не заметить некоторую ограниченность в изучении внимания (фокусирования, фигуры и фона, и пр.) в психологии. В большинстве случаев данное явление исследовалось экспериментально на уровне относительно простых перцептивных реакций испытуемых на аудио- и видеостимулы (картинки, предметы, фрагменты фильма, шумы, отдельно произносимые слова и предложения). Роль подобных экспериментов нельзя недооценивать, так как именно благодаря им удалось выявить целый ряд факторов, значимых также для лингвистических исследований. Так, например, экспериментально

² См. подробные обзоры в [Anderson 2000; Солсо 1996].

³ См. также [Bruner et al. 1967; Найссер 1981].

установлено, что мы руководствуемся как физическими характеристиками (громкостью, яркостью и др.), так и семантическими свойствами при выборе объекта для фокусирования; смещение фокуса в пределах одного объекта требует меньше затрат, чем аналогичное смещение с объекта на объект; периферические (внефокусные) признаки не подавляются полностью, а могут на какое-то краткое время оставаться доступными для сознания («эхоическое хранение»). Кроме того, мы фокусируемся на отдельных свойствах объектов, чтобы синтезировать их в целостный образ, а также обладаем способностью к сканированию (передвижению фокуса) как в пределах реальных, так и воображаемых объектов и событий⁴.

Однако, несмотря на эти и многие другие достижения, психологические эксперименты подобного рода предполагают анализ непосредственных нейробиологических реакций испытуемых и нацелены главным образом на исследование внимания в пределах остенсивных (перцептивных) модусов обработки информации, связанных во многом со зрительной ориентацией человека в пространстве. Роль пространственной ориентации в языковом освоении мира, несомненно, велика (см. понятие «*embodiment*», предложенное Дж. Лакоффом и М. Джонсоном). Но, как известно, языковая деятельность в значительной степени связана с инферентными модусами обработки информации и с воображением как способностью создавать мысленные образы с «мысленными фокусами», а также хранить эти образы в долговременной памяти вместе с обозначающими их языковыми единицами. Так, если мы сравним лексемы *птица* и *идея*, то увидим, что в основе семантики первого слова лежит визуальный образ как результат перцептивного восприятия (отсюда его тяготение к репрезентациям-картинкам); в основе семантики второй лексемы находится инферентный модус — отсюда тяготение к пропозиционным репрезентациям [Кубрякова, Ирисханова 2007]. Именно последнее свойство создает «эффект удаленности» языкового знака, его меньшую зависимость от внешнереперентного, непосредственного чувственного восприятия.

⁴ Влияние визуальных экспериментов на когнитивную лингвистику проявляется также в применении так называемых метафор «линзы» и «прожектора» при описании процессов семантического фокусирования.

Другая особенность языка связана с тем, что дискурсивная деятельность помещает аттенциональные явления в прагматику конкретных знаковых ситуаций, в которых, согласно Ч. Пирсу, Ч. Моррису, К. Бюлеру и другим семиологам, немаловажную роль играют отправитель и интерпретатор языкового знака, их интенциональные характеристики и в конечном итоге то, как они конструируют ментальные образы объектов.

Следуя этим особенностям, в когнитивной лингвистике выделяются два вектора расширения изначально психологических понятий, связанных с распределением внимания. Первый подход — назовем его условно семантико-синтаксическим — предполагает обращение к понятиям «аттенциональности», «селективности», «фокусирования» для объяснения не столько сиюминутных речевых операций с языковыми знаками, сколько более устойчивых языковых процессов (полисемии, эвфемии, грамматикализации, клиширования и др.). Второе направление — прагматическое — означает применение соответствующих понятий к анализу функционирования тех или иных знаков и знаковых комплексов в конкретных типах дискурса и коммуникативных событиях. Акцент при этом может ставиться на общем социокультурном контексте, на ролевых и интенциональных характеристиках коммуникантов, также учитывается семиотическая многомодальность общения.

Необходимо отметить, что первое направление уже какое-то время достаточно активно разрабатывается в когнитивной семантике, хотя и в весьма разнородном плане. Именно на нем мы подробнее остановимся в нашей статье.

Уже в рамках данного направления становится очевидным чрезвычайно важный, на наш взгляд, момент: возможность расширения терминологической цепочки «внимание — селекция — фокусирование» за счет привлечения лингвокогнитивных феноменов конструирования и салиентности.

Распределение внимания в вербальной коммуникации связано с наличием языкового знака, т. е. говорящие сталкиваются не только с необходимостью фокусироваться на тех или иных перцептивных свойствах внешних референтов, но и рассматривать в качестве стимулов иные компоненты знаковой ситуации, в том числе и сами языковые единицы. Природа же языка такова, что говорящим

предлагаются альтернативные способы конструирования референтной ситуации. При производстве речевого акта коммуниканты выбирают то или иное лексическое, синтаксическое и др. средство, которое, по их мнению, наилучшим образом отвечает требованию салиентности, т. е. сфокусированы на тех свойствах объекта, которые наиболее значимы для говорящего и слушающего на данный момент. В своем выборе отправитель знака может использовать как устоявшиеся единицы и выражения (лексемы или идиомы с уже заданными салиентными свойствами как результатом «мысленного фокусирования»), так и создать собственные способы конструирования объекта (например, окказиональные метафоры)⁵. Заметим, что даже лексем с устоявшейся онтологической салиентностью допускают варьирование в выделении свойств референтной ситуации: ср. *Город накрыло снегом* (земля) — *Весь город собрался на площади* (жители) — *Поедем за город* (границы города).

Расширение понимания механизмов внимания за счет конструирования и салиентности позволило не только вовлечь в круг лингвокогнитивного исследования самые разнообразные языковые явления и создать единую базу для анализа большого числа конкретных лексических и синтаксических единиц в различных языках, но и установить связь фокусирования внимания с текущей, эпизодической и даже долговременной памятью⁶. Кроме того, на материале некоторых видов лексем и идиоматических конструкций выявлена зависимость между салиентностью и такими важнейшими аспектами языкового существования, как *ad hoc* категоризация и конвенциональность (*entrenchment*). Отмечается, что гибкое смещение фокуса при классификации объектов позволяет нам создавать категории в сиюминутном режиме; в то же время устойчивость и общепризнанность свойств языковых единиц позволяет легко определять и даже прогнозировать фокусы внимания при интер-

⁵ С данными мыслями частично перекликается принятое в когнитивной лингвистике деление салиентности на когнитивную, при которой активация концептов зависит от характера конструирования объекта в момент коммуникации, и онтологическую, определяемую природой референта [Schmid 2007].

⁶ Ср. с [Anderson 2000; Givon 2002], где фокус ограничен кратковременной рабочей памятью.

претации высказываний (см. исследования Л. Барсалоу, Д. Гирартса, Х. Шмида, Р. Морено и др.).

Далее, когнитивные исследования многочисленных языковых фактов показали, что в зависимости от характеристики лексемы (например, принадлежности к открытому или закрытому классу) и от ролевых архетипов (агенс, пациенс, говорящий, слушающий, человек, животное и т. д.) языковые единицы образуют иерархии салиентности (см. труды Л. Тэлми, Р. Лэнекера). Способы конструирования объекта с помощью тех или иных языковых единиц и выражений задают характер отношений между более выделенными и менее выделенными концептуальными элементами. Важно, что данное соотношение анализируется не только в традиционно бинарных терминах «фигура / фон» (Л. Тэлми, Р. Лэнекер), «фокус / пресуппозиция» (Р. Джэкендофф), «профиль / база», «траектор / ориентир», «непосредственный / максимальный (концептуальный) диапазон» (immediate and maximal scope у Р. Лэнекера). Так, например, в исследованиях Л. Тэлми речь идет о континууме, соединяющем находящиеся в центре внимания фигуру, фон и дефокусированный задний план (background) [Тэлми 2006]. Работы Л. Тэлми примечательны и тем, что в них рассматриваются лексические и синтаксические факторы структурного и содержательного свойства, обуславливающие различную степень выделенности частей языкового выражения, референта или контекста. В [Тэлми 2006: 32—36] также отмечается, что одной из отличительных черт системы внимания в языке является способность единицы направлять фокус внимания вовне себя — например, на соседние единицы⁷. В качестве краткой иллюстрации приведем высказывание *So then I'm like: Wow, I don't believe this!*, в котором *to be like* выдвигает на первый план не только значение последующего фрагмента, но и жаргонный стиль и возбужденное состояние собеседника [Там же: 33].

Важно, на наш взгляд, подчеркнуть следующее: подобные примеры, а также континуальный характер отношений между фокусными и нефокусными (фоновыми) элементами и возможность удер-

⁷ Сходные идеи предлагаются также в [Schmid 2000] для конструкций с абстрактными существительными и в [Ирисханова 2008] для некоторых речевых клише.

живать какое-то время в сознании несколько фокусов (что подтверждается экспериментами) показывают, что границы между фокусом, фоном и задним планом (background) установить довольно сложно. Так, в когнитивных исследованиях для иллюстрации отношений между выделенной фигурой и «затемненным» фоном нередко приводятся примеры, подобные следующему предложению: *The book (Figure) is on the floor (Ground)*. Однако, как представляется, подобное членение основано скорее на логико-семантических отношениях между членами предложения, а не на том, что действительно попадает в фокус внимания говорящих при конструировании данной ситуации. Все это не может не привести нас к выводу о том, что распределение внимания чувствительно к контексту употребления и, следовательно, полноценное исследование внимания невозможно без обращения к прагматическим факторам.

Несмотря на то, что мы выделили прагматическое (дискурсивное) направление как отдельный вектор расширения объяснительной силы терминов, связанных с распределением внимания, в когнитивной лингвистике, мы вынуждены признать, что, к сожалению, данный подход применительно к понятиям фокусирования, фигуры и фона и пр. еще только начинает складываться. В лингвокогнитивных исследованиях эта тема пока не получила самостоятельного развития, хотя некоторые теоретические соображения для подобных изысканий можно найти в работах когнитивно-прагматического (а в отечественной лингвистике — когнитивно-дискурсивного) направления. Речь идет прежде всего о теории релевантности (см. труды Д. Спербера и Д. Уилсон, Р. Карстон и др.), в которой предложено противопоставление экспликатур и имплицатур, отражающих разную степень когнитивной выделенности информации при интерпретации конкретных речевых актов. Кроме того, некоторые идеи, касающиеся значимости процессов выведения из фокуса внимания в дискурсе, приводятся в [Кубрякова, Ирисханова 2007; Ирисханова 2008]. Представляется в целом, что расширение понятия распределения внимания (и фокусирования) за счет анализа прагматических фактов является весьма перспективным направлением, развитие которого позволило бы значительно увеличить объяснительный потенциал когнитивных терминов.

Итак, в нашей статье мы стремились показать, что введение в когнитивную лингвистику всей рассмотренной нами сетки психо-

логических понятий, связанных с распределением внимания при порождении и восприятии речи, внесло значительные уточнения в понимание многих языковых фактов и позволило дать им новое объяснение. Это касается природы языкового конструирования и категоризации, языковой конвенциональности и устойчивости, а также возможностей расширительной трактовки соотношения топики и коммента, темы и ремы и целого ряда речевых актов (уклонения, комплимента, поздравления и др.). В более общем плане это означает преобразование самой природы объяснения, принимаемого в лингвистике. В определенном смысле мы становимся свидетелями преобразования лингвистического метаязыка, для которого в условиях нарастающего взаимопроникновения наук становятся типичными многократные переходы понятий из одной дисциплины в другую, что, в свою очередь, не может не привести к постоянной взаимной подпитке наук и, следовательно, к значительному расширению объяснительного диапазона этих понятий в рамках отдельно взятой области знаний.

* * *

Прозорливый читатель уже, несомненно, понял, что выбор темы настоящей статьи отнюдь не случаен — ведь от объяснений в науке можно перейти к объяснениям в чувствах. Эта статья и задумана нами как объяснение в любви и признательности дорогому юбиляру, талантливому ученому и замечательному человеку — Виктору Алексеевичу Виноградову.

ЛИТЕРАТУРА

- Демьянков 2006 — Демьянков В. 3. *Studia Linguistica Cognitiva* — призыв к сотрудничеству // *Studia linguistica cognitiva*. Вып. 1. Язык и познание: Методологические проблемы и перспективы. М.: Гнозис, 2006. С. 5—7.
- Ирисханова 2008 — Ирисханова О. К. О типах знания и семантической неопределенности (дело о деле) // Когнитивные исследования языка: Типы знаний и проблема их классификации: Сб. науч. трудов. М.; Тамбов: Изд-во ТГУ, 2008. С. 148—157.

- Кубрякова, Демьянков 2007 — *Кубрякова Е. С., Демьянков В. З.* О ментальных репрезентациях // Проблемы представления (репрезентации) в языке. Типы и форматы знаний: Сб. науч. трудов. М.; Калуга: Эйдос, 2007. С. 13—28.
- Кубрякова, Ирисханова 2007 — *Кубрякова Е. С., Ирисханова О. К.* Языковое абстрагирование в именах категорий // ИАН СЛЯ. 2007. Т. 66. № 2. С. 3—12.
- Найссер 1981 — *Найссер У.* Познание и реальность: Смысл и принципы когнитивной психологии. М.: Прогресс, 1981.
- Ожегов 1978 — *Ожегов С. И.* Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1978.
- Солсо 1996 — *Солсо Р. Л.* Когнитивная психология / Пер. с англ. М.: Трикола, 1996.
- Тэлми 2006 — *Тэлми Л.* Феномены внимания // Вопр. когнитивной лингвистики. 2006. № 2. С. 23—44.
- Anderson 2000 — *Anderson J. R.* Cognitive Psychology and Its Implications. N. Y.: Worth Publishers, 2000.
- Bruner et al. 1967 — *Bruner J. S., Goodnow J. J., Austin G. A.* A Study of Thinking. N. Y.: NY Science Editions, 1967.
- Chafe 1994 — *Chafe W.* Discourse, Consciousness and Time: the Flow and Displacement of Conscious Experience in Speaking and Writing. Chicago: University of Chicago Press, 1994.
- Givón 2002 — *Givón T.* Bio-Linguistics: The Santa Barbara Lectures. Amsterdam: John Benjamins, 2002.
- Jackendoff 1993 — *Jackendoff R.* Semantics and Cognition. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Joos 1966 — *Joos M.* Readings in Linguistics: The Development of Descriptive Linguistics in America, 1925—1956. Chicago: Chicago University Press, 1966.
- Schmid 2000 — *Schmid H.-J.* English Abstract Nouns as Conceptual Shells: From Corpus to Cognition. Berlin; N. Y.: Mouton de Gruyter, 2000.
- Schmid 2007 — *Schmid H.-J.* Entrenchment, Salience, and Basic Levels // The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics / D. Geeraerts, H. Cuyckens (eds.). Oxford: Oxford University Press, 2007. P. 117—138.

*РЕЦЕНЗИЯ НА: D. LEE. COGNITIVE LINGUISTICS.
AN INTRODUCTION. N. Y.: OXFORD UNIV.
PRESS, 2002. — 223 p.*

Среди нескольких уже существующих введений в когнитивную лингвистику это, несомненно, займет особое место: написанное просто, оно дает весьма ясное представление о тех проблемах, с которыми сталкивается когнитивная лингвистика (далее — КЛ) сегодня, а главное, с теми объяснениями, которые она уже может дать многим традиционным проблемам. Отличаясь от предыдущих введений уже тем, что настоящая книга гораздо менее погружена в историю возникновения КЛ и в историю формирования ее ключевых понятий, она помогает даже неискушенному читателю составить мнение о том, чем именно занимается КЛ в настоящее время и как много уже удалось ей сделать в самых разных областях лингвистики и — особенно — англистики. И хотя в качестве ключевых понятий КЛ здесь названо совсем небольшое их количество (перспективизации, фокусировки внимания, метафоры и фрейма), акцент на описание и характеристику понятия **конструирования** (construal) ситуации позволяет ее автору (прослушавшему курс лекций по КЛ в Сан-Диего в 1996 году, который тогда читал Р. Ленекер, а затем неоднократно читавшему этот курс в одном из университетов Австралии и известному целым рядом собственных публикаций по КЛ, особенно в связи с анализом дискурса) рассмотреть самые существенные для КЛ вопросы — о природе языкового значения и формировании языковых значений у разных языковых форм. По сути дела, перед нами книга, освещающая именно это — динамику значений, причем у таких разных единиц, как предлоги и предлогообразные наречия, суффиксы и отдельные слова — глаголы, дискурсивные частицы, существительные, местоимения и — что особенно важно — разнообразные конструкции со всеми ними. Может быть, именно потому, что все теоретические соображения концентрируются в книге вокруг анализа конкретных примеров, она читается

не только с исключительным интересом, но и легко. Между тем она весьма информативна, и я всячески ее рекомендую, как начинающим изучать КЛ, так и уже владеющим аппаратом КЛ и проводившим собственные изыскания в разных ее областях. Хотела бы также посоветовать всем читателям книги обратить внимание на библиографические списки к каждому разделу и на Упражнения, помещенные в конце каждой главы, и попробовать их сделать! — Они дадут возможность убедиться вам самим, насколько важно чисто практическое овладение конкретным материалом, анализ которого с когнитивной точки зрения освещен в книге и в методологическом плане, процедурно.

Охарактеризовав общие черты рецензируемой монографии, останавлиюсь теперь на наиболее примечательных, по моему мнению, размышлениях и примерах автора, который в самом начале книги совершенно справедливо подчеркивает, что за два последних десятилетия КЛ предложила такую новую теорию языка, знакомство с которой должно стать обязательной частью обучения лингвистике и главный постулат которой заключается в том, что в отличие от всех других направлений здесь утверждается зависимость значения всех языковых форм от когниции, т. е. от того, как концептуализируется человеком описываемая им ситуация и какому видению ситуации и какому ее «конструированию» (*construal*) эта форма соответствует.

Любая ситуация может быть описана по-разному: разные способы ее кодирования, ее портретирования означают, что ее концептуализация осуществлена в соответствии с разным ее видением: она не просто отражена человеком, она определенным образом им «сконструирована». За различием форм, которые ранее рассматривались как семантически тождественные, надо усмотреть именно разное видение ситуации (см. также подробнее: Кубрякова Е. С. *Язык и знание*. М., 2004). Ее концептуализация может оказаться нетождественной как потому, что одну и ту же ситуацию можно увидеть в разной перспективе, выбрав для нее разные точки отсчета, или же с помещением в фокус внимания (*foregrounding*) разных ее участников или деталей, или, наконец, потому, что благодаря метафоре она сравнивается с какой-то другой ситуацией. Метафора предполагает, например, что одно событие концептуализируется в терминах, сложившихся при описании человеческого опыта из другой области знания: ср. описания концептов поведения человека в «температур-

ных» терминах (он *был так холоден; прохладные его манеры меня насторожили; горячий его прием был искренним*) и т. д.

Автор видит несомненную связь явлений выдвигания на первый план того или иного участника/детали ситуации с понятием фрейма, у которого усматривают и концептуальные, и культурологические измерения (слоты); ассоциации со словом уикенд (weekend) могут быть весьма и весьма различными.

Введение в практику лингвистического анализа понятия конструирования ситуации помогает понять, почему значение высказывания — это не столько свойство его самого, сколько результат взаимодействия этого высказывания с базой знания говорящего, в нем отраженной; соответственно, и понимание (интерпретация) высказывания зависят тоже от множества факторов (условий коммуникации, личности слушающего, самой описываемой ситуации и т. п.), в связи с чем, как в процессах порождения речи, так и в процессах ее восприятия должен быть учтен этот субъективный момент. Собственно, большая часть книги и посвящается далее разъяснению этой позиции — как позиции относительного релятивизма, отличающегося от уорфианской тем, что не только говорящие на разных языках принимают, усваивая свой родной язык, определенный взгляд на мир, но и говорящие на одном и том же языке характеризуются зачастую разными системами мировоззрения (world view).

Рассматривая пространственные отношения как наиболее фундаментальные для восприятия физического мира человеком, автор книги демонстрирует на интересных примерах, как затем обозначения этих отношений (предлогами) переносятся на другие сферы опыта. Но даже в этой базовой области знания отношения между реальностью и топографическим расположением объектов и их описанием в языке нет прямолинейных или одно-однозначных соответствий: концепты вмещения одного объекта в другой или поддержки одного объекта другим могут быть объективированы по-разному, что свидетельствует об исключительной гибкости и пластичности языковых форм, которые легко переосмысляются и семантически модифицируются; каждая языковая форма, собственно говоря, может быть подвергнута процессам ее видоизменения — идеализации и абстрактизации (т. е. переносам от более конкретного к более абстрактному (*я прошел через лес vs. через жестокие испытания*)).

Рассмотрение семантики предлогов позволяет Д. Ли перейти к анализу организации разных категорий и выдвинуть положение, что наиболее частым типом такой организации является радиальная, строящаяся вокруг центрального или ядерного ее элемента (он нередко именуется прототипом). Модель такой категории явно отличается от классической, берущей свое начало у Аристотеля. Работы Э. Рош и ее коллег помогли прояснить ее специфические особенности, а понятие радиальности приобрело в КЛ большую значимость — его используют для описания значения многих языковых явлений — в том числе для объяснения языковых изменений или структуры глагольных и именных категорий и т. д., вплоть до объяснения особенностей дискурса. Исследование радиальных категорий проливает свет на развитие когнитивных связей и соотношение целых концептуальных областей знания; оно демонстрирует, что значение — это эмерджентное свойство, развивающееся в процессах взаимодействия фреймов, стоящих за каждой из комбинирующихся друг с другом единиц. Примером этого могут служить и наблюдения за развитием значений у суффиксов, и у глагольных категорий, и у отдельных глаголов, что, в конечном счете, помогает понять, как относительно конечная система знаков позволяет справиться с описаниями бесконечно сложного и постоянно меняющегося мира. Немаловажно также и то, что указанные наблюдения освещают природу категоризации как процесса, подвластного влиянию целого ряда разнообразных факторов и зависящего от конкретных условий, целей и знаний осуществляющих этот процесс людей.

Интереснейшие страницы рецензируемой книги посвящаются и тому, как строятся разные конструкции языка, т. е. как комбинируются между собой разные значения и каковы принципы подобной композиционности. Ответы на эти вопросы автор видит опять-таки во взаимодействии и слиянии тех фреймов, которые стоят за разными элементами конструкций, что, собственно, и приводит к появлению нового конструктивного (constructional) типа значения у целостной формы. Сравнивая между собой близкие по значению конструкции, мы все же можем усмотреть и их различия и более глубоко понять принципы когнитивной грамматики и ее стремление связать естественность создаваемых человеком предложений с отражением или такой же естественной концептуализации соответствующей описываемой ситуации.

Большое внимание уделяется в монографии и понятию ментальных пространств, которое, по мнению автора, стало играть заметную роль в КЛ со второй половины 1990-х годов прошлого века под влиянием работ Ж. Фоконье. Предложенная им модель позволяет описать многие явления, до сих пор необъясненные — многозначность и неоднозначность целого ряда предложений (в том числе — и контрфактуальных), механизм использования отдельных грамматических форм и семантических переносов и т. п. Здесь особенно интересно интерпретируются неоднозначные (*ambiguous*) конструкции разного типа.

В разделе о языковых изменениях демонстрируется связь описанных ранее ключевых понятий КЛ с историческими преобразованиями в семантике отдельных единиц, т. е. эти понятия выступают как проясняющие исторические изменения, характеризовавшие развитие слова *soon* ‘скоро’, ‘вскоре’ (от темпорального — к нетемпоральному в высказываниях типа ‘я бы скорее застрелился, чем пошел у нее на поводу’), слова *still* (с развитием его значений по радиальному типу), модальных глаголов *may* и *can* и т. п. Все эти семантические сдвиги объясняются как результат фокусировки во фрейме, стоящем за словом, нового слота (его *foregrounding*).

В разделе об исчисляемых и неисчисляемых существительных приводятся дополнительные аргументы в защиту взгляда о том, что грамматические особенности языков гораздо более связаны с семантикой, чем думали раньше, и что за кажущейся произвольностью форм скрывается их относительная мотивированность: так противопоставление обозначений предметных сущностей обозначениям жидкостей основано на вполне ясных физических характеристиках этих объектов (у жидкостей нет, например, четко очерченных границ, поскольку они чаще всего принимают форму своего контейнера, не имеют отдельных частей и т. п.). Промежуточные же сущности (грязь, вязкая глина и пр.) могут интерпретироваться по-разному, на что каждый раз есть свое объяснение и что сказывается в невозможности в английском языке употребить их во множественном числе (**several slimes*, **these muds*). Можно объяснить и особые случаи множественного числа у слов типа *вино*, *вода* (ср. русск. *три пива* и пр.).

Когнитологи не настаивают на том, что грамматика полностью мотивирована или что грамматические формы целиком зависят

от их прагматических функций, — они только подчеркивают, как важна возможность концептуализировать один и тот же объект или одну и ту же ситуацию разным образом.

Тенденции и закономерности, обнаруженные когнитологами при сравнении count nouns и mass nouns, сказываются в противопоставлении перфектных и имперфектных форм глагола; за этими формами стоит нетождественное видение ситуации и потому **надо признать**, что язык не столько отражает объективные свойства ситуаций, сколько **их концептуализацию человеком** в конкретных случаях наблюдения за ними.

Природу разных языковых явлений и категорий, разные типы корреляций между языком и познанием автор рассматривает и на примере категорий каузальности и агентивности, подчеркивая, что в любой ситуации оказываются задействованными столько разных обуславливающих ее факторов, что процесс конструирования здесь особенно сложен и нагляден. Выбор единицы, которую можно назвать каузатором события, — это выбор одной из причин, вызвавших само событие. Некоторые правила такого выбора связаны с непосредственной зависимостью одного из участников ситуации с ее результатом. Начало рассмотрению факторов каузации положили, вообще говоря, работы Ч. Филмора о падежах, и их можно и нужно интерпретировать сегодня с когнитивной точки зрения. По всей видимости, представления о каузации и агентивности существуют во всех языках, но в их исследовании значительный прорыв был сделан с 70-х годов прошлого века, когда к этим категориям подошли как к прототипическим, характеризующимся в сильной степени прототипическими эффектами.

Два последних раздела книги посвящены демонстрации того, что главные понятия КЛ (фреймов, радиальных категорий и т. п.) применимы и для дискурсивного анализа, т. к. общение между людьми следует рассматривать как постоянно протекающий процесс подгонки имеющего место конструирования ситуаций разными говорящими, а эти процессы носят конструктивный характер (для того, чтобы обеспечить лучшее понимание между говорящими). Автор подробно освещает само понятие конструктивизма и особенно такой его аспект, как категоризацию, которая осуществляется буквально в каждом высказывании. Иногда такая категоризация очень проста, иногда — проблематична из-за возможности использовать

альтернативные способности ее осуществления (ситуация 'у телевизора' может категоризоваться как «отдыхать», «расслабиться», «узнать новости», «терять время» и т. п.). В процессах категоризации сказываются, конечно, и различия между мужчинами и женщинами, и возрастные различия, и различия в культурном уровне говорящих. Но может здесь иметь место и тот факт, что сами категории носят не-жесткий характер (ср., например, категории цвета). Если бы все категории строились по аристотелевскому принципу, у говорящих не было бы возможности сделать категоризацию процессом конструктивным. Прототипическая семантика помогает и в этом случае найти правильное решение проблемы. Автор иллюстрирует такой процесс на примере того, как для определенной ситуации конструируется ее агентивное начало. Говорящие используют имеющиеся в их распоряжении средства творчески, считаясь с конкретными условиями проведения дискурса.

Это соображение заставляет автора книги остановиться в ее заключении на понятии **креативности** и природе языкового значения: подчеркивается, что подлинное творчество в языке связано не столько с использованием конечного числа синтаксических средств в новых целях (как это полагали хомскианцы), сколько с тем, какие новые средства находит человек для фиксации новых структур знания. Отсюда и новое понимание значения слова как фактора активизации в сознании человека определенной области знания; но хотя конкретное слово и активизирует у разных людей сходные области знания, полагать, что за словом всегда стоит один и тот же концепт, значит игнорировать решающую роль индивидуума в порождении значения. Значения поразительно гибки, а чтобы сыграть свою роль в построении текста, они не должны сковывать говорящего чересчур жесткими рамками: языковые выражения должны оставаться до известной степени неопределенными (*underspecified*). Значения слова не должны и не могут быть «конечными», они развиваются, они зависят от процессов концептуализации и категоризации. Язык и когниция связаны неразрывно.

Осветив основные идеи рецензируемой книги, я мало останавливалась на прекрасных комментариях Д. Ли к приводимым им примерам. Но они тоже составляют привлекательную часть его книги, которую я всем рекомендую.

ПЕРВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ

- Кубрякова Е. С.* Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когнитивной лингвистики // Вопросы когнитивной лингвистики. 2004. № 1. С. 6—17.
- Кубрякова Е. С.* Рец. на: *Lee D. Cognitive Linguistics. An Introduction.* N. Y.: Oxford Univ. Press, 2002. — 223 p. // Вопросы когнитивной лингвистики. 2004. № 2/3. С. 115—118.
- Кубрякова Е. С.* О термине «дискурс» и стоящей за ним структуре знания // Язык. Личность. Текст: Сб. статей к 70-летию Т. М. Николаевой / Отв. Ред. В. Н. Топоров. М.: Языки слав. культур, 2005. С. 23—33.
- Кубрякова Е. С.* В генезисе языка, или Размышления об абстрактных именах // Вопросы когнитивной лингвистики. 2006. № 3. С. 5—14.
- Кубрякова Е. С., Демьянков В. З.* К проблеме ментальных репрезентаций // Вопросы когнитивной лингвистики. 2007. № 4. С. 8—16.
- Кубрякова Е. С.* К определению понятия имиджа // Вопросы когнитивной лингвистики. 2008. № 1. С. 5—11.
- Кубрякова Е. С.* О соотношении языка и действительности и связи этой проблемы с трактовкой понятия знания // Когнитивные исследования языка. Вып. III. Типы знаний проблема их классификации: Сб. науч. трудов / Гл. ред. серии Е. С. Кубрякова; отв. ред. вып. Н. Н. Болдырев. М.; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2008. С. 11—24.
- Кубрякова Е. С.* В поисках сущности языка // Вопросы когнитивной лингвистики. 2009. № 1. С. 5—12.
- Кубрякова Е. С.* Основные направления концептуального анализа: вместо введения // Когнитивные исследования языка. Вып. I. Концептуальный анализ языка: Сб. науч. трудов / Гл. ред. серии Е. С. Кубрякова; отв. ред. вып. Н. Н. Болдырев. М.; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2009. С. 11—21.
- Кубрякова Е. С.* О когнитивных процессах, происходящих в ходе описания языка // Когнитивные исследования языка. Вып. V. Исследование познавательных процессов в языке: Сб. науч. трудов / Гл. ред. серии Е. С. Кубрякова; отв. ред. вып. Н. Н. Болдырев. М.; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2009. С. 22—29.

- Кубрякова Е. С., Петрова Н. Ю.* Лингвокультурологический статус драмы (новое в изучении языка пьес) // Вопросы когнитивной лингвистики. 2010. № 2. С. 64—73.
- Кубрякова Е. С.* У истоков когнитивной науки // Международный конгресс по когнитивной лингвистике: Сб. мат-лов 29 сентября — 1 октября 2010 г. / Отв. ред. Н. Н. Болдырев. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2010. С. 30—31.
- Кубрякова Е. С.* О месте когнитивной лингвистики среди других наук когнитивного цикла и о ее роли в исследовании процессов категоризации и концептуализации мира // Когнитивные исследования языка. Вып. VII. Типы категорий в языке: Сб. науч. трудов / Гл. ред. серии Е. С. Кубрякова; отв. ред. вып. Н. Н. Болдырев. М.; Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2010. С. 13—18.
- Кубрякова Е. С., Ирисханова О. К.* К вопросу о природе объяснений в лингвистике // В пространстве языка и культуры: Звук, знак, смысл: Сб. статей в честь 70-летия В. А. Виноградова / Отв. ред. В. З. Демьянков, В. Я. Порхомовский. М.: Языки слав. культур, 2010. С. 158—169.

Елена Самойловна Кубрякова

В ПОИСКАХ СУЩНОСТИ ЯЗЫКА

Когнитивные исследования

Издатель А. Кошелев

Корректор Г. Эрли

Оператор Е. Зуева

Оригинал-макет подготовлен И. Богатыревой

Художественное оформление переплета С. Жигалкина

**Подписано в печать 18.05.2012. Формат 60 90 ¹/₁₆.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная. Гарнитура TNR.
Усл. печ. л. 13. Тираж 700. Заказ №**

Издательство «Знак».

ОГРН № 1027701010435.

Тел.: 95-95-260. E-mail: Lrc.phouse@gmail.com

Site: <http://www.lrc-press.ru>, <http://www.lrc-lib.ru>

Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».

Тел. 8-499-793-57-01, e-mail: gnosis@pochta.ru

Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).

Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17 "Б" офис 313

ISBN 978-5-9551-0461-4



9 785955 104614 >